

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 35

1989



И. БАБЕЛЬ

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

РАССКАЗЫ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 35

Издается с января 1925 года

И. БАБЕЛЬ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1989

И. БАБЕЛЬ

В 20-е и 30-е годы Исаак Эммануилович Бабель (1894—1941) почитался одним из самых замечательных русских писателей своего времени. О прозе Бабеля были написаны десятки статей. В 1928 году в серии «Мастера современной литературы» вышла даже книга «Бабель И. Э. Статьи и материалы», специально посвященная его творчеству.

Первые — самые ранние — рассказы Бабеля одобрил и опубликовал М. Горький (журнал «Летопись», 1916, № 11, ноябрь). Но после этого удачного дебюта наступила долгая пауза.

В годы гражданской войны он был бойцом 1-й Конной армии, и первые его рассказы, появившиеся в печати после семилетнего перерыва, были о ней. Они вызвали грубую отповедь С. М. Буденного, который требовал защитить от безответственной клеветы «тех, кого дегенерат от литературы Бабель оплевывает художественной слюной классовой ненависти».

М. Горький вступился за своего подопечного.

Возражая Буденному, он очень высоко оценил бабелевскую «Конармию» и даже обронил, что, на его взгляд, Бабель украсил героев этой своей книги «лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев».

В 1939 году Бабель был арестован и вскоре погиб в сталинских застенках. Имя его на долгие годы стало неупоминаемым. Выросло целое поколение читателей, даже не слыжавших об этом большом художнике.

Вскоре после XX съезда (в 1957 году) в издательстве «Художественная литература» вышла книга И. Бабеля «Избранное». О Бабеле вновь заговорили. Была издана даже небольшая книжечка воспоминаний о нем. Характерно, что не только литературные сверстники Бабеля, но и некоторые старшие его современники (Эренбург, Паустовский), не сговариваясь, называли его своим учителем.

Однако официальная литературная реабилитация Бабеля проходила туго. Время от времени появлялись статьи, выдержанные в духе давних нападок С. М. Буденного. Еще совсем недавно

(лет пять тому назад) в нашей печати можно было прочесть о «наших идеологических противниках», пытающихся «противопоставлять литературе и искусству социалистического реализма свои антинаучные взгляды и концепции».

В чем же они состояли, эти «антинаучные взгляды»?

А в том, что, «всячески отодвигая в тень творческое наследие таких мастеров, как Горький и Алексей Толстой, Маяковский и Есенин, Фурманов и Фадеев, Твардовский и Исаковский, нам пытаются навязать сегодня новую историко-революционную версию, где на первом плане стоят совсем иные писатели... Скажем, Мандельштам и Пастернак, Ахматова и Цветаева, Булгаков и Бабель».

Такая тревога, быть может, была бы еще более или менее объяснима, если бы издатели наши отдавали предпочтение Булгакову и Бабелю, оттесняя «на второй план» Горького, Маяковского, Есенина, Твардовского. Но для таких опасений не было ни малейших оснований. Достаточно сказать, что после реабилитации Бабеля у нас вышли в свет лишь четыре сравнительно небольшие его книги: «Избранное» 1957 года в слегка дополненном виде было переиздано в 1966 году в издательстве «Художественная литература» и в том же году в Кемеровском книжном издательстве. Позже кемеровское издание с небольшими разночтениями было повторено в Минске, в издательстве «Мастацкая літэратура». Вот, собственно, и все.

Между тем в 1973 году в ГДР вышло двухтомное собрание сочинений И. Бабеля. В 1979-м в США в издательстве «Ардис» на русском языке — однотомник «Забытый Бабель». (Этот сборник малоизвестных произведений Бабеля составил и подготовил к печати американский профессор Николас Струод.) Были и другие зарубежные издания — все не перечислишь.

Скоро в издательстве «Художественная литература» выйдет двухтомное собрание сочинений И. Бабеля, в котором творческое наследие писателя впервые предстанет перед советским читателем в более или менее полном объеме.

Бenedикт САРНОВ

НАЧАЛО

Лет двадцать тому назад, находясь в весьма нежном возрасте, расхаживал я по городу Санкт-Петербургу с липовым документом в кармане и — в лютую зиму — без пальто. Пальто, надо признаться, у меня было, но я не надевал его по принципиальным соображениям. Собственность мою в ту пору составляли несколько рассказов — столь же коротких, сколь и рискованных. Рассказы эти я разносил по редакциям, никому не приходило в голову читать их, а если они кому-нибудь попадались на глаза, то производили обратное действие. Редактор одного из журналов выслал мне через швейцара рубль, другой редактор сказал о рукописи, что это сущая чепуха, но что у тестя его есть мучной лабаз и в лабаз этот можно поступить приказчиком. Я отказался и понял, что мне не остается ничего другого, как пойти к Горькому.

В Петрограде издавался тогда интернационалистский журнал «Летопись», сумевший за несколько месяцев существования сделаться лучшим нашим ежемесячником. Редактором его был Горький. Я отправился к нему на Большую Монетную улицу. Сердце мое колотилось и останавливалось. В приемной редакции собралось самое необыкновенное общество из всех, какое только можно себе представить: великосветские дамы и так называемые «босяки», арзамасские телеграфисты, духовоборы и державшиеся особняком рабочие, подпольщики-большевики.

Прием должен был начаться в шесть часов. Ровно в шесть дверь открылась и вошел Горький, поразив меня своим ростом, худобой, силой и размером громадного костяка, синевой маленьких и твердых глаз, заграничным костюмом, сидевшим на нем мешковато, но изысканно. Я сказал: дверь открылась ровно в шесть. Всю жизнь он оставался верен этой точности, добродетели королей и старых, умелых, уверенных в себе рабочих.

Посетители в приемной разделялись на принесших рукописи и на тех, кто ждал решения участи.

Горький подошел ко второй группе. Походка его была легка, бесшумна, я бы сказал — изящна, в руках он держал тетради; на некоторых из них его рукой было написано больше, чем рукой автора. С каждым он говорил сосредоточенно и долго, слушал собеседника с всепоглоща-

ющим жадным вниманием. Мнение свое он высказывал прямо и сурово, выбирая слова, силу которых мы узнали много позже, через годы и десятилетия, когда слова эти, прошедшие в душе нашей длинный, неотвратимый путь, сделались правилом и направлением жизни.

Покончив с авторами, уже знакомыми ему, Горький подошел к нам и стал собирать рукописи. Мельком он взглянул на меня. Я представлял тогда собой румяную, пухлую и непребродившую смесь толстовца и социал-демократа, не носил пальто, но был вооружен очками, замотанной вошеной ниткой.

Дело происходило во вторник. Горький взял тетрадку и сказал: — За ответом — в пятницу.

Неправдоподобно звучали тогда эти слова... Обычно рукописи истлевали в редакциях по несколько месяцев, а чаще всего — вечность.

Я вернулся в пятницу и застал новых людей: как и в первый раз, среди них были княгини и духоборы, рабочие и монахи, морские офицеры и гимназисты. Войдя в комнату, Горький снова взглянул на меня беглым своим мгновенным взглядом, но оставил меня напоследок. Все ушли. Мы остались одни — Максим Горький и я, свалившийся с другой планеты, из собственного нашего Марселя (не знаю, нужно ли пояснять, что я говорю об Одессе). Горький позвал меня в кабинет. Слова, сказанные им там, решили мою судьбу.

— Гвозди бывают маленькие, — сказал он, — бывают и большие — с мой палец. — И он поднес к моим глазам длинный, сильно и нежно вылепленный палец. — Писательский путь, уважаемый пистолет (с ударением на о), усеян гвоздями, преимущественно крупного формата. Ходить по ним придется босыми ногами, крови сойдет довольно, и с каждым годом она будет течь все обильнее... Слабый вы человек — вас купят и продадут, вас затормошат, усыпят, и вы увянете, притворившись деревом в цвету... Честному же человеку, честному литератору и революционеру пройти по этой дороге — великая честь, на каковые нелегкие действия я вас, сударь, и благословляю...

Надо думать, в моей жизни не было часов важнее тех, которые я провел в редакции «Летописи». Выйдя оттуда, я полностью потерял физическое ощущение моего существа. В тридцатиградусный, синий, обжигающий мороз я бежал в бреду по громадным пыльным коридорам столицы, открытым далекому темному небу, и опомнился, когда оставил за собой Черную Речку и Новую Деревню...

Прошла половина ночи, и тогда только я вернулся на Петербургскую сторону, в комнату, снятую накануне у жены инженера, молодой, неопытной женщины. Когда со службы пришел ее муж и осмотрел мою загадочную и юную персону, он распорядился убрать из передней все пальто и галоши и закрыть на ключ дверь из моей комнаты в столовую.

Итак, я вернулся в свою новую квартиру. За стеной была передняя, лишенная причитавшихся ей галош и накидок, в душе кипела и залива-

ла меня жаром радость, тиранически требовавшая выхода. Выбирать было не из чего. Я стоял в передней, чему-то улыбался и неожиданно для себя открыл дверь в столовую. Инженер с женой пили чай. Увидев меня в этот поздний час, они побледнели, особенно у них побелели лбы.

«Началось», — подумал инженер и приготовился дорого продать свою жизнь.

Я ступил два шага по направлению к нему и сознался в том, что Максим Горький обещал напечатать мои рассказы.

Инженер понял, что он ошибся, приняв сумасшедшего за вора, и побледнел еще смертельнее.

— Я прочту вам мои рассказы, — сказал я, усаживаясь и придвигая к себе чужой стакан чая, — те рассказы, которые он обещал напечатать...

Краткость содержания соперничала в моих творениях с решительным забвением приличий. Часть из них, к счастью благонамеренных людей, не явилась на свет. Вырезанные из журналов, они послужили поводом для привлечения меня к суду по двум статьям сразу — за попытку ниспровергнуть существующий строй и за порнографию. Суд надо мной должен был состояться в марте 1917 года, но вступивший за меня народ в конце февраля восстал, сжег обвинительное заключение, а вместе с ним и самое здание Окружного суда.

Алексей Максимович жил тогда на Кронверкском проспекте. Я приносил ему все, что писал, а писал я по одному рассказу в день (от этой системы мне пришлось впоследствии отказаться, с тем чтобы впасть в противоположную крайность). Горький все читал, все отвергал и требовал продолжения. Наконец мы оба устали и он сказал мне глуховатым своим басом:

— С очевидностью выяснено, что ничего вы, сударь, толком не знаете, но догадываетесь о многом... Ступайте-ка посему в люди...

И я проснулся на следующий день корреспондентом одной неродившейся газеты с двумястами рублей подъемных в кармане. Газета так и не родилась, но подъемные мнегодились. Командировка моя длилась семь лет, много дорог было мною исхожено, и многих боев я был свидетель. Через семь лет, демобилизовавшись, я сделал вторую попытку печататься и получил от него записку: «Пожалуй, можно начинать...»

И снова, страстно и непрерывно, стала подталкивать меня его рука. Это требование — увеличивать непрестанно и во что бы то ни стало число нужных и прекрасных вещей на земле — он предъявлял тысячам людей, им отысканных и возвращенных, а через них и человечеству. Им владела не ослабевавшая ни на мгновение, невиданная, безграничная страсть к человеческому творчеству. Он страдал, когда человек, от которого он ждал много, оказывался бесплоден. И, счастливый, он потирал руки и подмигивал миру, небу, земле, когда из искры возгоралось пламя...

ПИСЬМО

Вот письмо на родину, продиктованное мне мальчиком нашей экспедиции Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его не приукрашивая и передаю дословно, в согласии с истиной.

«Любезная мама Евдокия Федоровна. В первых строках сего письма спешу вас уведомить, что, благодаря господу, я есть жив и здоров, чего желаю от вас слышать то же самое. А также нижаясь вам кланяюсь от бела лица до сырой земли...» (Следует перечисление родственников, крестных, кумовьев. Опустим это. Перейдем ко второму абзацу.)

«Любезная мама Евдокия Федоровна Курдюкова. Спешу вам написать, что я нахожусь в красной Конной армии товарища Буденного, а также тут находится ваш кум Никон Васильич, который есть в настоящее время красный герой. Они взяли меня к себе, в экспедицию Политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты — Московские Известия ЦИК, Московская Правда и родную беспощадную газету Красный кавалерист, которую всякий боец на передовой позиции желает прочесть, и опосля этого он с геройским духом рубает подлую шляхту, и я живу при Никон Васильиче очень великолепно.

Любезная мама Евдокия Федоровна. Пришлите чего можете от вашей силы-возможности. Прошу вас заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в Политотдел товарища Буденного, получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать не евши и безо всякой одежды, так что даже холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет, прошу вас досматривайте до него и напишите мне за него — засекается он еще или перестал, а также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет? Прошу вас, любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспреренно передние ноги с мылом, которое я оставил за образами, а если папаша мыло истребили, так купите в Краснодаре, и бог вас не оставит. Могу вам описать также, что здесь страна совсем бедная, мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам, пшеницы, видать, мало и она ужасно мелкая, мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь и то же самое овес. На палках здесь растет хмель, так что выходит очень аккуратно; из него гонят самогон.

Во вторых строках сего письма спешу вам описать за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеича Курдюкова тому назад с год времени. Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаша были в тое время у Деникина за командира роты. Которые люди их видали, — то говорили, что они носили на себе медали, как при старом режиме. И по случаю той измены всех нас побрали в плен и брат Федор Тимофеич попались папаше на глаза. И папаша начали Федю резать, говоря — шкура, красная собака, сукин сын и разное, и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеич не кончился. Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. Но папаша пымали меня с письмом и говорили: вы — материны дети, вы — еиный корень, потаскухин, я вашу матку брую

хатил и буду брюхатить, моя жизнь погибшая, изведу я за правду свое семя, и еще разное. Я принимал от них страдания, как спаситель Иисус Христос. Только вскорости я от папаши ушел и прибилсь до своей части товарища Павличенки. И наша бригада получила приказание идти в город Воронеж пополняться, и мы получили там пополнение, а также коней, сумки, наганы, и все, что до нас принадлежало. За Воронеж могу вам описать, любезная мама Евдокия Федоровна, что это городок очень великолепный, будет поболее Краснодара, люди в нем очень красивые, речка способная до купанья. Давали нам хлеб по два фунта в день, мяса полфунта и сахару подходяще, так что вставши пили сладкий чай, то же самое вечеряли и про голод забыли, а в обед я ходил к брату Семену Тимофеичу за блинами или гусятиной и опосля этого лягал отдыхать. В то время Семен Тимофеича за его отчаянность весь полк желал иметь за командира и от товарища Буденного вышло такое приказание, и он получил двух коней, справную одежду, телегу для барахла отдельно и орден Красного Знамени, а я при нем считался братом. Таперича какой сосед вас начнет заживать — то Семен Тимофеич может его вполне резать. Потом мы начали гнать генерала Деникина, порезали их тыщи и загнали в Черное море, но только папаши нигде не было видеть, и Семен Тимофеич их разыскивали по всех позициях, потому что они очень скушали за братом Федей. Но только, любезная мама, как вы знаете за папашу и за его упорный характер, так он что сделал — нахально покрасил себе бороду с рыжей на вороную и находился в городе Майкопе, в вольной одежде, так что никто из жителей не знали, что он есть самый что ни на есть стражник при старом режиме. Но только правда — она себе окажет, кум ваш Никон Васильич случаем увидал его в хате у жителя и написал до Семена Тимофеича письмо. Мы посидали на коней и пробегли двести верст — я, брат Сенька и желающие ребята из станицы.

И что же мы увидали в городе Майкопе? Мы увидали, что тыл никак не сочувствует фронту и в нем повсюду измена и полно жидов, как при старом режиме. И Семен Тимофеич в городе Майкопе с жидами здорово спорился, которые не выпускали от себя папашу и засадили его в тюрьму под замок, говоря — пришел приказ не рубить пленных, мы сами его будем судить, не сердчайте, он свое получит. Но только Семен Тимофеич свое взял и доказал, что он есть командир полка и имеет от товарища Буденного все ордена Красного Знамени, и грозился всех порубать, которые спорятся за папашину личность и не выдают ее, а так же грозилась ребята со станицы. Но только Семен Тимофеич папашу получили, и они стали папашу плетить и выстроили во дворе всех бойцов, как принадлежит к военному порядку. И тогда Сенька плеснул папаше Тимофей Родионычу воды на бороду, и с бороды потекла краска. И Сенька спросил Тимофей Родионыча:

— Хорошо вам, папаша, в моих руках?

— Нет, — сказал папаша, — худо мне.

Тогда Сенька спросил:

— А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?

— Нет,— сказал папаша,— худо было Феде.

Тогда Сенька спросил:

— А думали вы, папаша, что и вам худо будет?

— Нет,— сказал папаша,— не думал я, что мне худо будет.

Тогда Сенька поворотился к народу и сказал:

— А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать...

И Тимофей Родионыч зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в богородицу и бить Сеньку по морде, и Семен Тимофеич услали меня со двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому я был усланный со двора.

Посля этого мы получили стоянку в городе в Новороссийском. За этот город можно рассказать, что за ним никакой суши больше нет, а одна вода, Черное море, и мы там оставались до самого мая, когда выступили на польский фронт и треплем шляхту почем зря...

Остаюсь ваш любезный сын Василий Тимофеич Курдюков. Мамка, доглядайте до Степки, и бог вас не оставит».

Вот письмо Курдюкова, ни в одном слове не измененное. Когда я кончил, он взял исписанный листок и спрятал его за пазуху, на голое тело.

— Курдюков,— спросил я мальчика,— злой у тебя был отец?

— Отец у меня был кобель,— ответил он уग्रомо.

— А мать лучше?

— Мать подходящая. Если желаешь — вот наша фамилия...

Он протянул мне сломанную фотографию. На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой, недвижимый, скуластый, со сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз. Рядом с ним, в бамбуковом креслице, сидела крохотная крестьянка в выпущенной кофте, с чахлыми светлыми и застенчивыми чертами лица. А у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона, с цветами и голубями, высились два парня — чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученье, два брата Курдюковых — Федор и Семен.

ИЗМЕНА

«Товарищ следователь Бурденко. На вопрос ваш отвечаю, что партийность имею номер двадцать четыре два нуля, выданную Никите Балашеву Краснодарским комитетом партии. Жизнеописание мое до 1914 года объясняю как домашнее, где занимался при родителях хлебопаше-

ством и перешел от хлебопашества в ряды империалистов защищать гражданина Пуанкаре и палача германской революции Эберта-Носке, которые, надо думать, спали и во сне видели, как бы дать подмогу урожденной моей станице Иван Святой Кубанской области. И так вилась веревочка до тех пор, пока товарищ Ленин не отворотил озверелый мой штык и не указал ему предназначенную кишку и новый салник поудобнее. С того времени я ношу номер двадцать четыре два нуля на конце зрячего моего штыка, и довольно оно стыдно и слишком мне смешно слышать теперь от вас, товарищ следователь Бурденко, неподобную эту липу про неизвестный N...ский госпиталь. В госпиталь этот я не стрелял и не нападал, чего и не могло быть. Будучи ранены, мы все трое, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, имели жар в костях и не нападали, а только плакали, стоя в больничных халатах на площади посреди вольного населения по национальности евреев. А коснувшись повреждения трех стекол, которые мы повредили из офицерского нагана, то скажу от всей души, что стекла не соответствовали своему назначению, как будучи в кладовке, которой они без надобности. И доктор Явейн, видя горькую эту нашу стрельбу, только надсмехался разными улыбками, стоя в окошке своего госпиталя, что также могут подтвердить вышеизложенные, вольные евреи местечка Козин. На доктора Явейна даю еще, товарищ следователь, тот материал, что он надсмехался, когда мы, трое раненых, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, первоначально поступали на излечение, и с первых слов он заявил нам слишком грубо: вы, бойцы, искупайтесь каждый в ванной, ваше оружие и вашу одежду скидайте этой же минутой, я опасаясь от них заразы, они пойдут у меня обязательно в цейхгауз... И тогда, видя перед собой зверя, а не человека, боец Кустов выступил вперед своею перебитой ногой и выразился, что какая в ней может быть зараза, в кубанской вострой шашке, кроме как для врагов нашей революции, и также поинтересовался узнать об цейхгаузе, действительно ли там при вещах находится партийный боец или же напротив, один из беспартийной массы. И тут доктор Явейн, видно, заметил, что мы можем хорошо понимать измену. Он оборотился спиной и без другого слова отослал нас в палату и опять с разными улыбками, куда мы и пошли, ковыляя разбитыми ногами, махая калечными руками и держась друг за друга, так как мы трое есть земляки из станицы Иван Святой, а именно: боец Головицын, товарищ Кустов и я, мы есть земляки с одной судьбой, и у кого разорвана нога, тот держит товарища за руку, а у кого недостает руки, тот опирается на товарищево плечо. Согласно отданного приказа пошли мы в палату, где ожидали увидеть культработу и преданность делу, но интересно узнать, что же мы увидели, взойдя в палату? Мы увидели красноармейцев, исключительно пехоту, сидящих на усталых постелях, играющих в шашки и при них сестер высокого роста, гладких, стоящих у окошек и разводящих симпатию. Увидев это, мы остановились как громом пораженные.

— Отвоевались, ребята? — восклицаю я раненым.

— Отвоевались,— отвечают раненые и двигают шашками, поделанными из хлеба.

— Рано,— говорю я раненым,— рано ты отвоевалась, пехота, когда враг на мягких лапах ходит в пятнадцати верстах от местечка и когда в газете «Красный кавалерист» можно читать про наше международное положение, что это одна ужась и на горизонте полно туч.— Но слова мои отскочили от геройской пехоты, как овечий помет от полкового барабана, и вместо всего разговор получился у нас, что милосердные сестры подвели нас к лежанкам и снова начали тереть волынку про сдачу оружия, как будто мы уже были побеждены. Они растревожили этими Кустова нельзя сказать как, и тот стал обрывать свою рану, помещавшуюся у него на левом плече, над кровавым сердцем бойца и пролетария. Видя эту натугу, сиделки поутихли, но только поутихли они на самое малое время, а потом опять завели свое издевательство беспартийной массы и стали подсылать охотников повытаскивать из-под нас, сонных, одежду или заставляли для культурботы играть театральную ролью в женском платье, что не подобает.

Немилосердные сиделки... Не однажды примерялись они к нам ради одежды сонным порошком, так что отдыхать мы стали в очередь, имея один глаз раскрывши, и в отхожее даже по малой нужде ходили в полной форме, с наганами. И отстрадавши так неделю с одним днем, мы стали заговариваться, получили видения и, наконец, проснувшись в обвиняемое утро, 4 августа, заметили в себе ту перемену, что лежим в халатах под номерами, как каторжники, без оружия и без одежды, вытканной материями нашими, слабосильными старушками с Кубани... И солнышко, видим, великолепно светит, а окопная пехота, среди которой страдало три красных конника, фулиганит над нами и с ней немилосердные сиделки, которые всыпавши нам накануне сонного порошку, трясут теперь молодыми грудьми и несут нам на блюдах какаву, а молока в этом какаве хоть залейся! От развеселой этой карусели пехота стучит костылями громко до ужаста и щиплет нам бока, как купленным девкам, дескать, отвоевалась и она, Первая Конная Буденная армия. Но нет, раскудрявые товарищи, которые наели очень чудные пуза, что ночью играют, как на пулеметах: не отвоевалась она, а только отпросившись вроде как по надобности, сошли мы трое во двор и со двора пустились мы в жару, в синих язвах к гражданину Бойдерману, к предупредкома, без которого, товарищ следователь Бурденко, этого недоразумения со стрельбой, возможная вещь, и не существовало бы, то есть без того предупредкома, от которого совершенно мы потерялись. И хотя мы не можем дать твердого материала на гражданина Бойдермана, но только, зайдя к предупредкома, мы обратили внимание на гражданина пожилых лет, в тулупе, по национальности еврея, который сидит за столом, стол его набит бумагами, что это некрасота смотреть... Гражданин Бойдерман кидает глазами то туда то сюда, и видно, что он ничего не может понимать в этих бумагах, ему горе с этими бумагами, тем более сказать, что

неизвестные, но заслуженные бойцы грозно подступают к гражданину Бойдерману за продовольствием, вперебивку с ними местные работники указывают на контру в окрестных селах, и тут же являются рядовые работники центра, которые желают венчаться в урвкоме в самой скорости и без волокиты... Так же и мы возвышенным голосом изложили случай с изменой в госпитале, но гражданин Бойдерман только пучил на нас глаза и опять кидал их то туда то сюда, и ласкал нам плечи, что уже не есть власть и недостойно власти, резолюции никак не давал, а только заявлял: товарищи бойцы, если вы жалеете советскую власть, то оставьте это помещение, на что мы не могли согласиться, то есть оставить помещение, а потребовали поголовное удостоверение личности, не получив какового, потеряли сознание. И, находясь без сознания, мы вышли на площадь, перед госпиталем, где обезоружили милицию в составе одного человека кавалерии и нарушили со слезами три незавидных стекла в вышеописанной кладовке. Доктор Явейн при этом недопустимом факте делал фигуры и смешки, и это в такой момент, когда товарищ Кустов должен был через четыре дня скончаться от своей болезни!

В короткой красной своей жизни товарищ Кустов без края тревожился об измене, которая вот она мигает нам из окошка, вот она насмешничает над грубым пролетариатом, но пролетариат, товарищи, сам знает, что он грубый, нам больно от этого, душа горит и рвет огнем тюрьму тела...

Измена, говорю я вам, товарищ следователь Бурденко, смеется нам из окошка, измена ходит, разувшись, в нашем доме, измена закинула за спину штиблеты, чтоб не скрипели половицы в обворовываемом доме...»

ИСТОРИЯ МОЕЙ ГОЛУБЯТНИ

М. Горькому

В детстве я очень хотел иметь голубятню. Во всю жизнь у меня не было желания сильнее. Мне было девять лет, когда отец посулил дать денег на покупку тесу и трех пар голубей. Тогда шел тысяча девятьсот четвертый год. Я готовился к экзаменам в подготовительный класс Николаевской гимназии. Родные мои жили в городе Николаеве, Херсонской губернии. Этой губернии больше нет, наш город отошел к Одесскому району.

Мне было всего девять лет, и я боялся экзаменов. По обоим предметам — по русскому и по арифметике — мне нельзя было получить меньше пяти. Процентная норма была трудна в нашей гимназии, всего пять процентов. Из сорока мальчиков только два еврея могли поступить в подготовительный класс. Учителя спрашивали этих мальчиков хитро;

никого не спрашивали так замысловато, как нас. Поэтому отец, обещая купить голубей, требовал двух пятерок с крестами. Он совсем истерзал меня, я впал в нескончаемый сон наяву, в длинный детский сон отчаяния, и пошел на экзамен в этом сне и все же выдержал лучше других.

Я был способен к наукам. Учителя, хоть они и хитрили, не могли отнять у меня ума и жадной памяти. Я был способен к наукам и получил две пятерки. Но потом все изменилось. Харитон Эфрусси, торговец хлебом, экспортировавший пшеницу в Марсель, дал за своего сына взятку в пятьсот рублей, мне поставили пять с минусом вместо пяти, и в гимназию на мое место приняли маленького Эфрусси. Отец очень убивался тогда. С шести лет он обучал меня всем наукам, каким только можно было. Случай с минусом привел его в отчаяние. Он хотел побить Эфрусси или подкупить двух грузчиков, чтобы они побили Эфрусси, но мать отговорила его, и я стал готовиться к другому экзамену, в будущем году, в первый класс. Родные тайком от меня подбили учителя, чтобы он в один год прошел со мною курс приготовительного и первого классов сразу, и так как мы во всем отчаивались, то я выучил наизусть три книги. Эти книги были: грамматика Смирновского, задачник Евтушевского и учебник начальной русской истории Пуцковича. По этим книгам дети не учатся больше, но я выучил их наизусть, от строки до строки, и в следующем году на экзамене из русского языка получил у учителя Караева недосыаемые пять с крестом.

Караев этот был румяный негодующий человек из московских студентов. Ему едва ли исполнилось тридцать лет. На мужественных его щеках цвел румянец, как у крестьянских ребят, сидела бородавка у него на щеке, из нее рос пучок пепельных кошачьих волос. Кроме Караева, на экзамене был еще помощник попечителя Пятницкий, считавшийся важным лицом в гимназии и во всей губернии. Помощник попечителя спросил меня о Петре Первом, я испытал тогда чувство забвения, чувство близости конца и бездны, сухой бездны, выложенной восторгом и отчаянием.

О Петре Великом я знал наизусть из книжки Пуцковича и стихов Пушкина. Я навзрыд сказал эти стихи, человечески лица покатались вдруг в мои глаза и перемешались там, как карты из новой колоды. Они тасовались на дне моих глаз, и в эти мгновения, дрожа, выпрямляясь, торопясь, я кричал пушкинские строфы изо всех сил. Я кричал их долго, никто не прерывал безумного моего бормотанья. Сквозь багровую слепоту, сквозь свободу, овладевшую мною, я видел только старое, склоненное лицо Пятницкого с посеребренной бородой. Он не прерывал меня и только сказал Караеву, радовавшемуся за меня и за Пушкина.

— Какая нация, — прошептал старик, — жидки ваши, в них дьявол сидит.

И когда я замолчал, он сказал:

— Хорошо, ступай, мой дружок...

Я вышел из класса в коридор и там, прислонившись к небеленой стене, стал просыпаться от судороги моих снов. Русские мальчики играли вокруг меня, гимназический колокол висел неподалеку под проле-

том казенной лестницы, сторож дремал на продавленном стуле. Я смотрел на сторожа и просыпался. Дети подбирались ко мне со всех сторон. Они хотели щелкнуть меня или просто поиграть, но в коридоре показался вдруг Пятницкий. Миновав меня, он приостановился на мгновение, шорток трудной медленной волной пошел по его спине. Я увидел смятение на просторной этой, мясистой, барской спине и двинулся к старику.

— Дети, — сказал он гимназистам, — не трогайте этого мальчика, — и положил жирную, нежную руку на мое плечо.

— Дружок мой, — обернулся Пятницкий, — передай отцу, что ты принят в первый класс.

Пышная звезда блеснула у него на груди, ордена зазвенели у лацкана, большое черное мундирное его тело стало уходить на прямых ногах. Оно стиснуто было сумрачными стенами, оно двигалось в них, как движется барка в глубоком канале, и исчезло в дверях директорского кабинета. Маленький служитель понес ему чай с торжественным шумом, а я побежал домой, в лавку.

В лавке нашей, полон сомнения, сидел и скребся мужик-покупатель. Увидев меня, отец бросил мужика и, не колеблясь, поверил моему рассказу. Он закричал приказчику закрывать лавку и бросился на Соборную улицу покупать мне шапку с гербом. Бедная мать едва отодрала меня от помешавшегося этого человека. Мать была бледна в ту минуту и испытывала судьбу. Она гладила меня и с отвращением отталкивала. Она сказала, что о всех принятых в гимназию бывает объявление в газетах и что бог нас покарает и люди над нами посмеются, если мы купим форменную одежду раньше времени. Мать была бледна, она испытывала судьбу в моих глазах и смотрела на меня с горькой жалостью, как на калечку, потому что одна она знала, как несчастлива наша семья.

Все мужчины в нашем роду были доверчивы к людям и скоры на необдуманные поступки, нам ни в чем не было счастья. Мой дед был раввином когда-то в Белой Церкви, его прогнали оттуда за кощунство, и он с шумом и скудно прожил еще сорок лет, изучал иностранные языки и стал сходить с ума на восьмидесятом году жизни. Дядька мой Лев, брат отца, учился в Воложинском ешиботе, в 1892 году он бежал от солдатчины и похитил дочь интенданта, служившего в Киевском военном округе. Дядька Лев увез эту женщину в Калифорнию, в Лос-Анжелос, бросил ее там и умер в дурном доме, среди негров и малайцев. Американская полиция прислала нам после смерти наследство из Лос-Анжелоса — большой сундук, окованный коричневыми железными обручами. В этом сундуке были гири от гимнастики, пряжи женских волос, дедовский талес, хлысты с золочеными набалдашниками и цветочный чай в шкатулках, отделанных дешевыми жемчугами. Изо всей семьи оставались только безумный дядя Симон, живший в Одессе, мой отец и я. Но отец мой был доверчивый к людям, он обижал их восторгами первой любви, люди не прощали ему этого и обманывали. Отец верил поэтому,

что жизнью его управляет злобная судьба, необъяснимое существо, преследующее его и во всем на него не похожее. И вот только один я оставался у моей матери изо всей нашей семьи. Как все евреи, я был мал ростом, хил и страдал от ученья головными болями. Все это видела моя мать, которая никогда не бывала ослеплена нищенской гордостью своего мужа и непонятной его верой в то, что семья наша станет когда-либо сильнее и богаче других людей на земле. Она не ждала для нас удачи, боялась купить форменную блузу раньше времени и только позволила мне сняться у фотографа для большого портрета.

Двадцатого сентября тысяча девятьсот пятого года в гимназии вывешен был список поступивших в первый класс. В таблице упоминалось и мое имя. Вся родня наша ходила смотреть на эту бумажку, и даже Шойл, мой двоюродный дед, пришел в гимназию. Я любил хвастливого этого старика за то, что он торговал рыбой на рынке. Толстые его руки были влажны, покрыты рыбьей чешуей и воняли холодными прекрасными мирами. Шойл отличался от обыкновенных людей еще и лживыми историями, которые он рассказывал о польском восстании 1861 года. В давние времена Шойл был корчмарем в Сквире; он видел, как солдаты Николая Первого расстреливали графа Годлевского и других польских инсургентов. Может быть, он и не видел этого. Теперь-то я знаю, что Шойл был всего только старый неуч и наивный лгун, но побасенки его не забыты мной, они были хороши. И вот даже глупый Шойл пришел в гимназию прочитать таблицу с моим именем и вечером плясал и топал на нашем нищем балу.

Отец устроил бал на радостях и позвал товарищей своих — торговцев зерном, маклеров по продаже имений и вояжеров, продававших в нашей округе сельскохозяйственные машины. Вояжеры эти продавали машины всякому человеку. Мужики и помещики боялись их, от них нельзя было отделаться, не купив чего-нибудь. Изю всех евреев вояжеры самые бывалые, веселые люди. На нашем вечере они пели хасидские песни, состоявшие всего из трех слов, но певшиеся очень долго, со множеством смешных интонаций. Прелесть этих интонаций может узнать только тот, кому приходилось встречать пасху у хасидов или кто бывал на Волины в их шумных синагогах. Кроме вояжеров, к нам пришел старый Либерман, обучавший меня торе и древнееврейскому языку. Его называли у нас мосье Либерман. Он выпил бессарабского вина поболее, чем ему было надо, шелковые традиционные шнуры вылезли из-под красной его жилетки, и он произнес на древнееврейском языке тост в мою честь. Старик поздравил родителей в этом тосте и сказал, что я победил на экзамене всех врагов моих, я победил русских мальчиков с толстыми щеками и сыновей грубых наших богачей. Так в древние времена Давид, царь иудейский, победил Голиафа, и подобно тому как я восторжествовал над Голиафом, так народ наш силой своего ума победит врагов, окруживших нас и ждущих нашей крови. Мосье Либерман заплакал, сказав это, плача, выпил еще вина и закричал: «виват!» Гости

взяли его в круг и стали водить с ним старинную кадрили, как на свадьбе в еврейском местечке. Все были веселы на нашем балу, даже мать пригубила вина, хоть она и не любила водки и не понимала, как можно ее любить; всех русских она считала поэтому сумасшедшими и не понимала, как живут женщины с русскими мужьями.

Но счастливые наши дни наступили позже. Они наступили для матери тогда, когда по утрам до ухода в гимназию она стала готовить для меня бутерброды, когда мы ходили по лавкам и покупали елочное мое хозяйство — пенал, копилку, ранец, новые книги в картонных переплетах и тетради в глянцевых обертках. Никто в мире не чувствует новых вещей сильнее, чем дети. Дети содрогаются от этого запаха, как собака от заячьего следа, и испытывают безумие, которое потом, когда мы становимся взрослыми, называется вдохновением. И это чистое детское чувство собственности над новыми вещами передавалось матери. Мы месяц привыкали к пеналу и к утреннему сумраку, когда я пил чай на краю большого освещенного стола и собирал книги в ранец; мы месяц привыкали к счастливой нашей жизни, и только после первой четверти я вспомнил о голубях.

У меня все было припасено для них — рубль пятьдесят копеек и голубятня, сделанная из ящика дедом Шойлом. Голубятня была выкрашена в коричневую краску. Она имела гнезда для двенадцати пар голубей, разные планочки на крыше и особую решетку, которую я придумал, чтобы удобнее было приманивать чужаков. Все было готово. В воскресенье двадцатого октября я собрался на Охотницкую, но на пути стали неожиданные препятствия.

История, о которой я рассказываю, то есть поступление мое в первый класс гимназии, происходила осенью тысяча девятьсот пятого года. Царь Николай давал тогда конституцию русскому народу, ораторы в худых пальто взгромождались на тумбы у здания городской думы и говорили речи народу. На улицах по ночам раздавалась стрельба, и мать не хотела отпускать меня на Охотницкую. С утра в день двадцатого октября соседские мальчики пускали змей против самого полицейского участка, и водовоз наш, забросив все дела, ходил по улице напояженный, с красным лицом, потом мы увидели, как сыновья булочника Калистова вытащили на улицу кожаную кобылу и стали делать гимнастику посреди мостовой. Им никто не мешал, городской Семерников подзадоривал их даже прыгать повыше. Семерников был подпоясан шелковым домотканым пояском, и сапоги его были начищены в тот день так блестяще, как не бывали они начищены раньше. Городовой, одетый не по форме, больше всего испугал мою мать, из-за него она не отпускала меня, но я пробрался на улицу задворками и добежал до Охотницкой, помешавшейся у нас за вокзалом.

На Охотницкой, на постоянном своем месте, сидел Иван Никодимыч, голубятник. Кроме голубей, он продавал еще кроликов и павлина. Павлин, распустив хвост, сидел на жердочке и поводил по сторонам бес-

страстной головкой. Лапа его была обвязана крученой веревкой, другой конец веревки лежал прищемленный Ивана Никодимыча плетеным стулом. Я купил у старика, как только пришел, пару вишневых голубей с затрепанными пышными хвостами и пару чубатых и спрятал их в мешок за пазуху. У меня оставалось сорок копеек после покупки, но старик за эту цену не хотел отдать голубя и голубку крюковской породы. У крюковских голубей я любил их клювы, короткие, зернистые, дружелюбные. Сорок копеек была им верная цена, но охотник дорожилась и отворачивал от меня желтое лицо, сожженное нелюдимыми страстями птицелова. К концу торга, видя, что не находится других покупателей, Иван Никодимыч подозвал меня. Все вышло по-моему, и все вышло худо.

В двенадцатом часу дня или немногим позже по площади прошел человек в валеных сапогах. Он легко шел на раздутых ногах, в его истертом лице горели оживленные глаза.

— Иван Никодимыч, — сказал он, проходя мимо охотника, — складайте инструмент, в городе иерусалимские дворяне конституцию получают. На Рыбной бабелевского деда насмерть устостили.

Он сказал это и легко пошел между клетками, как босой пахарь, идущий по меже.

— Напрасно, — пробормотал Иван Никодимыч ему вслед, — напрасно, — кричал он строже и стал собирать кроликов и павлина и сунул мне крюковских голубей за сорок копеек. Я спрятал их за пазуху и стал смотреть, как разбегаются люди с Охотничьей. Павлин на плече Ивана Никодимыча уходил последним. Он сидел, как солнце в сыром осеннем небе, он сидел, как сидит июль на розовом берегу реки, раскаленный июль в длинной холодной траве. На рынке никого уже не было, и выстрелы гремели неподалеку. Тогда я побежал к вокзалу, пересек сквер, сразу опрокинувшийся в моих глазах, и влетел в пустынный переулочек, утопанный желтой землей. В конце переулка на креслице с колесиками сидел безногий Макаренко, ездивший в креслице по городу и продававший папиросы с лотка. Мальчики с нашей улицы покупали у него папиросы, дети любили его, я бросился к нему в переулок.

— Макаренко, — сказал я, задыхаясь от бега, и погладил плечо безногого, — не видал ты Шойла?

Калека не ответил, грубое его лицо, составленное из красного жира, из кулаков, из железа, просвечивало. Он в волнении ерзал на креслице, и жена его, Катюша, повернувшись ваточным задом, разбирала вещи, валившиеся на землю.

— Чего насчитала? — спросил безногий и двинулся от женщины всем корпусом, как будто ему наперед невыносим был ее ответ.

— Камашей четырнадцать штук, — сказала Катюша, не разгибаясь, — пододеяльников шесть, теперь чепцы рассчитываю...

— Чепцы, — кричал Макаренко, задохся и сделал такой звук, как будто он рыдает, — видно, меня, Катерина, бог сыскал, что я за всех отве-

тять должен... Люди плотно целыми штуками носят, у людей все, как у людей, а у нас чепцы...

И в самом деле, по переулку пробежала женщина с распалившимся красивым лицом. Она держала охапку фесок в одной руке и штуку сука в другой. Счастливым отчаянным голосом сзывала она потерявшихся детей; шелковое платье и голубая кофта волочились за летящим ее телом, и она не слушала Макаренко, катившего за ней на кресле. Безногий не поспевал за ней, колеса его гремели, он изо всех сил вертел рычажки.

— Мадамочка,— оглушительно кричал он,— где брали сарпинку, мадамочка?

Но женщины с летящим платьем уже не было. Ей навстречу из-за угла выскочила вихлявая телега. Крестьянский парень стоял стоймя в телеге.

— Куда люди побегли? — спросил парень и поднял красную вожжу над клячами, прыгавшими в хомутах.

— Люди все на Соборной,— умоляюще сказал Макаренко,— там все люди, душа-человек; чего наберешь,— все мне тащи, все покупаю...

Парень изогнулся над передком, хлестнул по пегим клячам. Лошадь, как телята, прыгнули грязными своими крупами и пустились вскачь. Желтый переулочек снова остался желт и пустынен; тогда безногий перевел на меня погасшие глаза.

— Меня, што ль, бог сыскал,— сказал он безжизненно,— я вам, што ль, сын человеческий...

И Макаренко протянул мне руку, запятнанную проказой.

— Чего у тебя в торбе? — сказал он и взял мешок, согретый мое сердце.

Толстой рукой калека растормошил турманов и вытащил на свет вишневого голубку. Запрокинув лапки, птица лежала у него на ладони.

— Голуби,— сказал Макаренко и, скрипя колесами, подъехал ко мне,— голуби,— повторил он и ударил меня по щеке.

Он ударил меня наотмашь ладонью, сжимавшей птицу. Катюшин ваточный зад повернулся в моих зрачках, и я упал на землю в новой шинели.

— Семя ихнее разорить надо,— сказала тогда Катюша и разогнулась над чепцами,— семя ихнее я не могу навидеть и мужчин их вонючих...

Она еще сказала о нашем семени, но я ничего не слышал больше. Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен. Камешек лежал перед глазами, камешек, выщербленный, как лицо старухи с большой чельюстью, обрывок бечевки валялся неподалеку и пучок перьев, еще дышавших. Мир мой был мал и ужасен. Я закрыл глаза, чтобы не видеть его, и прижался к земле, ле-

жавшей подо мной в успокоительной немоте. Утоптанная эта земля ни в чем не была похожа на нашу жизнь и на ожидание экзаменов в нашей жизни. Где-то далеко по ней ездил беда на большой лошади, но шум копыт слабел, пропадал, и тишина, горькая тишина, поражающая иногда детей в несчастье, истребила вдруг границу между моим телом и никуда не двигавшейся землей. Земля пахла сырыми недрами, могилой, цветами. Я услышал ее запах и заплакал без всякого страха. Я шел по чужой улице, заставленной белыми коробками, шел в убранные окровавленных перьев, один в середине тротуаров, подметенных чисто, как в воскресенье, и плакал так горько, полно и счастливо, как не плакал больше во всю мою жизнь. Побелевшие провода гудели над головой, дворняжка бежала впереди, в переулке сбоку молодой мужик в жилете разбивал раму в доме Харитона Эфруси. Он разбивал ее деревянным молотом, замахивался всем телом и, вздыхая, улыбался на все стороны доброй улыбкой опьянения, пота и душевной силы. Вся улица была наполнена хрустом, треском, пением разлетавшегося дерева. Мужик бил только затем, чтобы перегибаться, запотевать и кричать необыкновенные слова на неведомом, нерусском языке. Он кричал их и пел, раздирая изнутри голубые глаза, пока на улице не появился крестный ход, шедший от думы. Старики с крашеными бородами несли в руках портрет расчесанного царя, хоругви с гробовыми угодниками метались над крестным ходом, воспламененные старухи летели вперед. Мужик в жилетке, увидав шествие, прижал молоток к груди и побежал за хоругвями, а я, выждав конец процессии, пробрался к нашему дому. Он был пуст. Белые двери его были раскрыты, трава у голубятни вытоптана. Один Кузьма не ушел со двора. Кузьма, дворник, сидел в сарае и убирал мертвого Шойла.

— Ветер тебя носит, как дурную щепку, — сказал старик, увидев меня, — убег на целые веки... Тут народ деда нашего, вишь, как тюкнул...

Кузьма засопел, отвернулся и стал вынимать у деда из прорехи штанов судака. Их было два судака всунуты в деда: один в прореху штанов, другой в рот, и хоть дед был мертв, но один судак жил еще и содрогался.

— Деда нашего тюкнули, никого больше, — сказал Кузьма, выбрасывая судаков кошке, — он весь народ из матери в мать погнал, изматерил дочиста, такой славный... Ты бы ему пятаков на глаза нанес...

Но тогда, десяти лет от роду, я не знал, зачем бывают надобны пятаки мертвым людям.

— Кузьма, — сказал я шепотом, — спаси нас...

И я подошел к дворнику, обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом и увидел деда из-за этой спины. Шойл лежал в опилках, с раздавленной грудью, с вздернутой бородой, в грубых башмаках, одетых на босу ногу. Ноги его, положенные врозь, были грязны, лиловы, мертвы. Кузьма хлопотал вокруг них, он подвязал челюсти и все примеривался, чего бы ему еще сделать с покойником. Он хлопотал,

как будто у него в доме была обновка, и остыл, только расчесав бороду мертвецу.

— Всех изматерил, — сказал он, улыбаясь, и оглянул труп с любовью, — кабы ему татары попались, он татар погнал бы, но тут русские подошли, и женщины с ними, кацапки; кацапам людей прощать обидно, я кацапов знаю...

Дворник подсыпал покойнику опилок, сбросил плотницкий передник и взял меня за руку.

— Идем к отцу, — пробормотал он, сжимая меня все крепче, — отец твой с утра тебя ищет, как бы не помер...

И вместе с Кузьмой мы пошли к дому податного инспектора, где спрятались мои родители, убежавшие от погрома.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Все люди нашего круга — маклеры, лавочники, служащие в банках и пароходных конторах — учили детей музыке. Отцы наши, не видя себе ходу, придумали лотерею. Они устроили ее на костях маленьких людей. Одесса была охвачена этим безумием больше других городов. И правда — в течение десятилетий наш город поставлял вундеркиндов на концертные эстрады мира. Из Одессы вышли Миша Эльман, Цимбалист, Габрилович, у нас начинал Яша Хейфец.

Когда мальчику исполнялось четыре или пять лет — мать вела крохотное, хилое это существо к господину Загурскому. Загурский содержал фабрику вундеркиндов, фабрику еврейских карликов в кружевных воротничках и лаковых туфельках. Он выискивал их в молдаванских трущобах, в зловонных дворах Старого базара. Загурский давал первое направление, потом дети отправлялись к профессору Ауэру в Петербург. В душах этих заморышей с синими раздутыми головами жила могучая гармония. Они стали прославленными виртуозами. И вот отец мой решил угнаться за ними. Хотя я и вышел из возраста вундеркиндов — мне шел четырнадцатый год, но по росту и хилости меня можно было сбить за восьмилетнего. На это была вся надежда.

Меня отвели к Загурскому. Из уважения к деду он согласился брать по рублю за урок — дешевая плата. Дед мой Лейви-Ицхок был посмешище города и украшение его. Он расхаживал по улицам в цилиндре и в опорках и разрешал сомнения в самых темных делах. Его спрашивали, что такое гобелен, отчего якобинцы предали Робеспьера, как готовится искусственный шелк, что такое кесарево сечение. Мой дед мог ответить на эти вопросы. Из уважения к учености его и безумию Загурский брал с нас по рублю за урок. Да и возился он со мною, боясь деда, потому что возиться было не с чем. Звуки ползли с моей скрипки, как железные опилки. Меня самого эти звуки резали по сердцу, но отец не

отставал. Дома только и было разговора о Мише Эльмане, самым царем освобожденном от военной службы. Цимбалист, по сведениям моего отца, представлялся английскому королю и играл в Букингэмском дворце; родители Габриловича купили два дома в Петербурге. Вундеркинды принесли своим родителям богатство. Мой отец примирился бы с бедностью, но слава была нужна ему.

— Не может быть, — нашептывали люди, обедавшие за его счет, — не может быть, чтобы внук такого деда...

У меня же в мыслях было другое. Проигрывая скрипичные упражнения, я ставил на пюпитре книги Тургенева или Дюма и, пиликая, пожирал страницу за страницей. Днем я рассказывал небылицы соседским мальчишкам, ночью переносил их на бумагу. Сочинительство было наследственное занятие в нашем роду. Лейви-Ицхок, тронувшийся к старости, всю жизнь писал повесть под названием «Человек без головы». Я пошел в него.

Нагруженный футляром и нотами, я три раза в неделю тащился на улицу Витте, бывшую Дворянскую, к Загурскому. Там вдоль стен, дожидаясь очереди, сидели еврейки, истерически воспламененные. Они прижимали к слабым своим коленям скрипки, превосходившие размерами тех, кому предстояло играть в Букингэмском дворце.

Дверь в святотилице открывалась. Из кабинета Загурского, шатаясь, выходили головастые, веснушчатые дети с тонкими шеями, как стебли цветов, и припадочным румянцем на щеках. Дверь захлопывалась, поглотив следующего карлика. За стеной, надрываясь, пел, дирижировал учитель, с бантом, в рыжих кудрях с жидкими ногами. Управитель чудовищной лотереи — он населял Молдаванку и черные тупики Старого рынка призраками пиччикато и кантилены. Этот распев доводил потом до дьявольского блеска старый профессор Ауэр.

В этой секте мне нечего было делать. Такой же карлик, как и они, я в голосе предков различал другое внушение.

Трудно мне дался первый шаг. Однажды я вышел из дому, навьюченный футляром, скрипкой, нотами и двенадцатью рублями денег — платой за месяц ученья. Я шел по Нежинской улице, мне бы повернуть на Дворянскую, чтобы попасть к Загурскому, вместо этого я поднялся вверх по Тираспольской и очутился в порту. Положенные мне три часа пролетели в Практической гавани. Так началось освобождение. Приемная Загурского больше не увидела меня. Дела поважнее заняли все мои помыслы. С одноклассником моим Немановым мы повадились на пароход «Кенсингтон» к старому одному матросу по имени мистер Троттибэрн. Неманов был на год моложе меня, он с восьми лет занимался самой замысловатой торговлей в мире. Он был гений в торговых делах и исполнил все, что обещал. Теперь он миллионер в Нью-Йорке, директор General Motors Co, компании столь же могущественной, как и Форд. Неманов таскал меня с собой потому, что я повиновался ему молча. Он покупал у мистера Троттибэрна трубки, про-

возимые контрабандой. Эти трубки точил в Линкольне брат старого ма-троса.

— Джентельмены,— говорил нам мистер Троттибэрн,— помяните мое слово, детей надо делать собственноручно... Курить фабричную трубку — это то же, что вставлять себе в рот клистир... Знаете ли вы, кто такое был Бенвенуто Челлини?.. Это был мастер. Мой брат в Линкольне мог бы рассказать вам о нем. Мой брат никому не мешает жить. Он только убежден в том, что детей надо делать своими руками, а не чужими... Мы не можем не согласиться с ним, джентельмены...

Неманов продавал трубки Троттибэрна директорам банка, иностран-ным консулам, богатым грекам. Он наживал на них сто на сто.

Трубки линкольнского мастера дышали поэзией. В каждую из них была уложена мысль, капля вечности. В их мундштуке светился желтый глазок, футляры были выложены атласом. Я старался представить себе, как живет в старой Англии Мэтью Троттибэрн, последний мастер тру-бок, противящийся ходу вещей.

— Мы не можем не согласиться с тем, джентельмены, что детей надо делать собственноручно...

Тяжелые волны у дамбы отдаляли меня все больше от нашего до-ма, пропахшего луком и еврейской судьбой. С Практической гавани я перекочевал за волнорез. Там на клочке песчаной отмели обитали мальчишки с Приморской улицы. С утра до ночи они не натягивали на себя штанов, ныряли под шаланды, воровали на обед кокосы и дожидая-лись той поры, когда из Херсона и Каменки потянутся дубки с арбузами и эти арбузы можно будет раскалывать о портовые причалы.

Мечтой моей сделалось умение плавать. Стыдно было сознаться бронзовым этим мальчишкам в том, что, родившись в Одессе, я до деся-ти лет не видел моря, а в четырнадцать не умел плавать.

Как поздно пришлось мне учиться нужным вещам! В детстве, приг-вожденный к Гемаре, я вел жизнь мудреца, выросши — стал лазать по деревьям.

Умение плавать оказалось недостижимым. Водобоязнь всех пред-ков — испанских раввинов и франкфуртских менял — тянула меня ко дну. Удоса меня не держала. Исполосованный, налитый соленой водой, я возвращался на берег — к скрипке и нотам. Я привязан был к орудиям моего преступления и таскал их с собой. Борьба раввинов с морем про-должалась до тех пор, пока надо мной не сжалился водяной бог тех мест — корректор «Одесских новостей» Ефим Никитич Смолич. В атле-тической груди этого человека жила жалость к еврейским мальчикам. Он верховодил толпами рахитичных заморышей. Никитич собирал их в клоповниках на Молдаванке, вел их к морю, зарывал в песок, делал с ними гимнастику, нырял с ними, обучал песням и, прохаживаясь в прямых лучах солнца, рассказывал истории о рыбаках и животных. Взрослым Никитич объяснял, что он натурфилософ. Еврейские дети от

историй Никитича помирала со смеху, они визжали и ластились, как щенята. Солнце окропляло их ползучими веснушками, веснушками цвета ящерицы.

За единоборством моим с волнами старик следил молча сбоку. Увидев, что надежды нет и что плавать мне не научиться, — он включил меня в число постояльцев своего сердца. Оно было все тут с нами — его веселое сердце, никуда не заносилось, не жадничало и не тревожилось... С медными своими плечами, с головой состарившегося гладиатора, с бронзовыми, чуть кривыми ногами, — он лежал среди нас за волнорезом, как властелин этих арбузных, керосиновых вод. Я полубил этого человека так, как только может полюбить атлета мальчик, хворающий истерией и головными болями. Я не отходил от него и пытался услуживать.

Он сказал мне:

— Ты не суетись... Ты укрепи свои нервы. Плаванье придет само собой... Как это так — вода тебя не держит... С чего бы ей не держать тебя?

Видя, как я тянусь, Никитич для меня одного из всех своих учеников сделал исключение, позвал к себе в гости на чистый, просторный чердак в циновках, показал своих собак, ежа, черепаху и голубей. В обмен на эти богатства я принес ему написанную мною накануне трагедию.

— Я так и знал, что ты пописываешь, — сказал Никитич, — у тебя и взгляд такой... Ты все больше никуда не смотришь...

Он прочитал мои писания, подергал плечом, провел рукой по крутым седым завиткам, прошелся по чердаку.

— Надо думать, — произнес он вразяжку, замолкая после каждого слова, — что в тебе есть искра божия...

Мы вышли на улицу. Старик остановился, с силой постучал палкой о тротуар и уставился на меня.

— Чего тебе не хватает?.. Молодость не беда, с годами пройдет... Тебе не хватает чувства природы.

Он показал мне палкой на дерево с красноватым стволом и низкой кроной.

— Это что за дерево?

Я не знал.

— Что растет на этом кусте?

Я и этого не знал. Мы шли с ним сквериком Александровского проспекта. Старик тыкал палкой во все деревья, он схватывал меня за плечо, когда пролетала птица, и заставлял слушать отдельные голоса.

— Какая это птица поет?

Я ничего не мог ответить. Названия деревьев и птиц, деление их на роды, куда летят птицы, с какой стороны восходит солнце, когда бывает сильнее роса — все это было мне неизвестно.

— И ты осмеливаешься писать?.. Человек, не живущий в природе, как живет в ней камень или животное, не напишет во всю свою жизнь

двух стоящих строк... Твои пейзажи похожи на описание декораций. Черт меня побери, — о чем думали четырнадцать лет твои родители?..

О чем они думали?.. О протестованных векселях, об особняках Миши Эльмана. Я не сказал об этом Никитичу, я смолчал.

Дома — за обедом — я не присоснулся к пище. Она не проходила в горло.

«Чувство природы, — думал я. — Бог мой, почему это не пришло мне в голову... Где взять человека, который растолковал бы мне птичьи голоса и названия деревьев?.. Что известно мне о них? Я мог бы распознать сирень — и то когда она цветет. Сирень и акацию. Дерibasовская и Греческая улицы обсажены акациями...»

За обедом отец рассказал новую историю о Яше Хейфеце. Не доходя до Робина, он встретил Мендельсона, Яшиного дядьку. Мальчик, оказывается, получает восемьсот рублей за выход. Посчитайте, сколько это выходит при пятнадцати концертах в месяц.

Я сосчитал: получилось двенадцать тысяч в месяц. Делая умножение и оставляя четыре в уме, я взглянул в окно. По цементному дворику, в тихонько отдуваемой крылатке, с рыжими колечками, выбивающимися из-под мягкой шляпы, опираясь на трость, шествовал господин Загурский, мой учитель музыки. Нельзя сказать, что он хватился слишком рано. Прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как скрипка моя опустилась на песок у волнореза...

Загурский подходил к парадной двери. Я кинулся к черному ходу — его накануне заколотили от воров. Тогда я заперся в уборной. Через полчаса возле моей двери собралась вся семья. Женщины плакали. Бобка терлась жирным плечом о дверь и закатывалась в рыданиях. Отец молчал. Заговорил он так тихо и раздельно, как не говорил никогда в жизни.

— Я офицер, — сказал мой отец, — у меня есть имение. Я езжу на охоту. Мужики платят мне аренду. Моего сына я отдал в кадетский корпус. Мне нечего заботиться о моем сыне...

Он замолк. Женщины сопели. Потом страшный удар обрушился в дверь уборной, отец бился об нее всем телом, он налетал с разбегу.

— Я офицер, — вопил он, — я езжу на охоту... Я убью его... Конеч...

Крючок соскочил с двери, там была еще задвижка, она держалась на одном гвозде. Женщины катались по полу, они хватали отца за ноги; обезумев, он вырывался. На шум подоспела старуха — мать отца.

— Дитя мое, — сказала она ему по-еврейски, — наше горе велико. Оно не имеет краев. Только крови не доставало в нашем доме. Я не хочу видеть кровь в нашем доме...

Отец застонал. Я услышал удалявшиеся его шаги. Задвижка висела на последнем гвозде.

В моей крепости я досидел до ночи. Когда все улеглись, тетя Бобка увела меня к бабушке. Дорога нам была дальняя. Лунный свет оцепенел на неведомых кустах, на деревьях без названия... Невидимая птица изда-

ла свист и угасла, может быть, заснула... Что это за птица? Как зовут ее? Бывает ли роса по вечерам?.. Где расположено созвездие Большой Медведицы? С какой стороны восходит солнце?..

Мы шли по Почтовой улице. Бобка крепко держала меня за руку, чтобы я не убежал. Она была права. Я думал о побеге.

ДИ ГРАССО

Мне было четырнадцать лет. Я принадлежал к неустрашимому корпусу театральных барышников. Мой хозяин был жулик с всегда прищуренным глазом и шелковыми громадными усами. Звали его Коля Шварц. Я угодил к нему в тот несчастный год, когда в Одессе прогорела итальянская опера. Послушавшись рецензентов из газеты, импресарио не выписал на гастроли Ансельми и Тито Руффо и решил ограничиться хорошим ансамблем. Он был наказан за это, он прогорел, а с ним и мы. Для поправки дел нам пообещали Шалыпина, но Шалыпин запросил три тысячи за выход. Вместо него приехал сицилианский трагик ди Грассо с труппой. Их привезли в гостиницу на телегах, набитых детьми, кошками, клетками, в которых прыгали итальянские птицы. Осмотрев этот табор, Коля Шварц сказал:

— Дети, это не товар...

Трагик после приезда отправился с кошелкой на базар. Вечером — с другой кошелкой — он явился в театр. На первый спектакль собралось едва ли пятьдесят человек. Мы уступали билеты за полцены, охотников не находилось.

Играли в тот вечер сицилианскую народную драму, историю обыкновенную, как смена дня и ночи. Дочь богатого крестьянина обручилась с пастухом. Она была верна ему до тех пор, пока из города не приехал барчук в бархатном жилете. Разговаривая с приезжим, девушка невпопад хихикала и невпопад замолкала. Слушая их, пастух ворочал головой, как потревоженная птица. Весь первый акт он прижимался к стенам, куда-то уходил в развевающихся штанах и, возвращаясь, озирался.

— Мертвое дело, — сказал в антракте Коля Шварц, — это товар для Кременчуга...

Антракт был сделан для того, чтобы дать девушке время созреть для измены. Мы не узнали ее во втором действии — она была нетерпима, рассеяна и, торопясь, отдала пастуху обручальное кольцо. Тогда он подвел ее к нишей и раскрашенной статуе святой девы и на сицилианском своем наречии сказал:

— Синьора, — сказал он низким своим голосом и отвернулся, — святая дева хочет, чтобы вы выслушали меня... Джованни, приехавшему из города, святая дева даст столько женщин, сколько он захочет; мне же

никто не нужен, кроме вас, синьора... Дева Мария, непорочная наша покровительница, скажет вам то же самое, если вы спросите ее, синьора...

Девушка стояла спиной к раскрашенной деревянной статуе. Слушая пастуха, она нетерпеливо топала ногой. На этой земле — о, горе нам! — нет женщины, которая не была бы безумна в те мгновенья, когда решается ее судьба... Она остается одна в эти мгновенья, одна, без дэвы Марии, и ни о чем не спрашивает у нее...

В третьем действии приехавший из города Джованни встретился со своей судьбой. Он брился у деревенского цирюльника, разбросав на авансцене сильные мужские ноги: под солнцем Сицилии сияли складки его жилета. Сцена представляла из себя ярмарку в деревне. В дальнем углу стоял пастух. Он стоял молча, среди беспечной толпы. Голова его была опущена, потом он поднял ее, и под тяжестью загоровшегося, внимательного его взгляда Джованни задвигался, стал ерзать в кресле и, оттолкнув цирюльника, вскочил. Срывающимся голосом он потребовал от полицейского, чтобы тот удалил с площади сумрачных подозрительных людей. Пастух — играл его ди Грассо — стоял задумавшись, потом он улыбнулся, поднялся в воздух, перелетел сцену городского театра, опустился на плечи Джованни и, перекусив ему горло, ворча и косясь, стал высасывать из раны кровь. Джованни рухнул, и занавес, грозно, бесшумно сдвигаясь, скрыл от нас убитого и убийцу. Ничего больше не ожидая, мы бросились в Театральный переулочек к кассе, которая должна была открыться на следующий день. Впереди всех несли Коля Шварц. На рассвете «Одесские новости» сообщили тем немногим, кто был в театре, что они видели самого удивительного актера столетия.

Ди Грассо в этот свой приезд сыграл у нас «Короля Лира», «Отелло», «Гражданскую смерть», тургеневского «Нахлебника», каждым словом и движением своим утверждая, что в исступлении благородной страсти больше справедливости и надежды, чем в безрадостных правилах мира.

На эти спектакли билеты шли в пять раз выше своей стоимости. Охотясь за барышниками, покупатели находили их в трактире — горлянничих, багровых, извергающих безвредное кощунство.

Струя пыльного розового зноя была впущена в Театральный переулочек. Лавочники в войлочных шлепанцах вынесли на улицу зеленые бутылки вина и бочонки с маслинами. В чанах перед лавками кипели в пенистой воде макароны, и пар от них таял в далеких небесах. Старухи в мужских штиблетах продавали ракушки и сувениры и с громким криком догоняли колеблющихся покупателей. Богатые евреи с раздвоенными, расчесанными бородами подъезжали к Северной гостинице и тихонько стучались в комнаты черноволосых толстух с усиками — актрис из труппы ди Грассо. Все были счастливы в Театральном переулочке, кроме одного человека, и этот человек был я. Ко мне в эти дни приближалась гибель. С минуты на минуту отец мог хватиться часов, взятых у него без позволения и заложенных у Коли Шварца. Успев привыкнуть

к золотым часам и будучи человеком, пившим по утрам вместо чая бесарабское вино, Коля, получив обратно свои деньги, не мог, однако, решиться вернуть мне часы. Таков был его характер. От него ничем не отличался характер моего отца. Стиснутый этими людьми, я смотрел, как проносятся мимо меня обручи чужого счастья. Мне не оставалось ничего другого, как бежать в Константинополь. Все уже было сговорено со вторым механиком парохода «Duke of Kent»¹, но перед тем как выйти в море, я решил проститься с ди Грассо. Он в последний раз играл пастуха, которого отделяет от земли непонятная сила. В театр пришли итальянская колония во главе с лысым и стройным консулом, поеживающиеся греки, бородатые экстерны, фанатически уставившиеся в никому не видимую точку, и длиннорукий Уточкин. И даже Коля Шварц привел с собой жену в фиолетовой шали с бахромой, женщину, годную в гренадеры и длинную, как степь, с мятым, сонливым личиком на краю. Оно было омочено слезами, когда опустился занавес.

— Босьяк,— выходя из театра, сказала она Коле,— теперь ты видишь, что такое любовь...

Тяжело ступая, мадам Шварц шла по Ланжероновской улице; из рыбьих глаз ее текли слезы, на толстых плечах содрогалась шаль с бахромой. Шаркая мужскими ступнями, тряся головой, она оглушительно, на всю улицу, высчитывала женщин, которые хорошо живут со своими мужьями.

— Циленька — называют эти мужья своих жен — золотко, деточка...

Присмиривший Коля шел рядом с женой и тихонько раздувал шелковые усы. По привычке я шел за ними и всхлипывал. Затихнув на мгновение, мадам Шварц услышала мой плач и обернулась.

— Босьяк,— вытирашив рыбы глаза, сказала она мужу,— пусть я не доживу до хорошего часа, если ты не отдашь мальчику часы...

Коля застыл, раскрыл рот, потом опомнился и, больно ущипнув меня, боком сунул часы.

— Что я имею от него,— безутешно причитал, удаляясь, грубый плачущий голос мадам Шварц,— сегодня животные штуки, завтра животные штуки... Я тебя спрашиваю, босьяк, сколько может ждать женщина?..

Они дошли до угла и повернули на Пушкинскую. Сжимая часы, я остался один и вдруг с такой ясностью, какой никогда не испытывал до тех пор, увидел уходившие ввысь колонны Думы, освещенную листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней, увидел в первый раз окружавшее меня таким, каким оно было на самом деле,— затихшим и невыразимо прекрасным.

¹ «Граф Кентский» (англ.).

ГЮИ ДЕ МОПАССАН

Зимой шестнадцатого года я очутился в Петербурге с фальшивым паспортом и без гроша денег. Приютил меня учитель русской словесности Алексей Казанцев.

Он жил на Песках, в промерзшей, желтой, зловонной улице. Приработком к скудному его жалованью были переводы с испанского, в ту пору входил в славу Бласко Ибаньес.

Казанцев и проездом не бывал в Испании, но любовь к этой стране заполняла его существо — он знал в Испании все замки, сады и реки. Кроме меня, к Казанцеву жалось еще множество вышибленных из правильной жизни людей. Мы жили впроголодь. Изредка бульварные листки печатали мелким шрифтом наши заметки о происшествиях.

По утрам я околачивался в моргах и полицейских участках.

Счастливее нас был все же Казанцев. У него была родина — Испания.

В ноябре мне представилась должность конторщика на Обуховском заводе, недурная служба, освобождавшая от воинской повинности.

Я отказался стать конторщиком.

Уже в ту пору — двадцати лет от роду — я сказал себе: лучше голодовка, тюрьма, скитания, чем сидение за конторкой часов по десяти в день. Особой удали в этом обете нет, но я не нарушал его и не нарушу. Мудрость дедов сидела в моей голове: мы рождены для наслаждения трудом, дракой, любовью, мы рождены для этого и ни для чего другого.

Слушая мои рацеи, Казанцев ерошил желтый короткий пух на своей голове. Ужас в его взгляде перемешивался с восхищением.

На рождестве к нам привалило счастье. Присяжный поверенный Бендерский, владелец издательства «Альциона», задумал выпустить в свет новое издание сочинений Мопассана. За перевод взялась жена присяжного поверенного — Раиса. Из барской затеи ничего не вышло.

У Казанцева, переводившего с испанского, спросили, не знает ли он человека в помощь Раисе Михайловне. Казанцев указал на меня.

На следующий день, облачившись в чужой пиджак, я отправился к Бендерским. Они жили на углу Невского и Мойки, в доме, выстроенном из финляндского гранита и обложенного розовыми колонками, бойницами, каменными гербами. Банкиры без роду и племени, выкредсты, разжившиеся на поставках, настроили в Петербурге перед войной множество пошлых, фальшиво-величавых этих замков.

По лестнице пролегал красный ковер. На площадках, поднявшись на дыбы, стояли плюшевые медведи.

В их разверстых пастьях горели хрустальные колпаки.

Бендерские жили в третьем этаже. Дверь открыла горничная в колке, с высокой грудью. Она ввела меня в гостиную, отделанную

в древнеславянском стиле. На стенах висели синие картины Рери-ха — доисторические камни и чудовища. По углам — на поставцах — расставлены были иконы древнего письма. Горничная с высокой грудью торжественно двигалась по комнате. Она была стройна, близорука, надменная. В серых раскрытых ее глазах окаменело распутство. Девушка двигалась медленно. Я подумал, что в любви она, должно быть, ворочается с неистовым проворством. Парчевый полог, висевший над дверью, заколебался. В гостиную, неся большую грудь, вошла черноволосая женщина с розовыми глазами. Не нужно было много времени, чтобы узнать в Бендерской упоительную эту породу евреек, пришедших к нам из Киева и Полтавы, из степных, сытых городов, обсаженных каштанами и акациями. Деньги оборотистых своих мужей эти женщины переливают в розовый жирок на животе, на затылке, на круглых плечах. Сонливая, нежная их усмешка сводит с ума гарнизонных офицеров.

— Мопассан — единственная страсть моей жизни, — сказала мне Раиса.

Стараясь удержать качание больших бедер, она вышла из комнаты и вернулась с переводом «Мисс Гарриэт». В переводе ее не осталось и следа от фразы Мопассана, свободной, текучей, с длинным дыханием страсти. Бендерская писала утомительно правильно, безжизненно и развязно — так, как писали раньше евреи на русском языке.

Я унес рукопись к себе и дома в мансарде Казанцева — среди спящих — всю ночь прорубал просеки в чужом переводе. Работа эта не так дурна, как кажется. Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреваться. Повернуть его надо один раз, а не два.

Наутро я снес выправленную рукопись. Раиса не лгала, когда говорила о своей страсти к Мопассану. Она сидела неподвижно во время чтения, сцепив руки: атласные эти руки текли к земле, лоб ее бледнел, кружевец между отдавленными грудями отклонялось и трепетало.

— Как вы это сделали?

Тогда я заговорил о стиле, об армии слов, об армии, в которой движутся все роды оружия. Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя. Она слушала, склонив голову, приоткрыв крашенные губы. Черный луч сиял в лакированных ее волосах, гладко прижатых и разделенных пробором. Облитые чулком ноги с сильными и нежными икрами расставились по ковру.

Горничная, уводя в сторону окаменевшие распутные глаза, внесла на подносе завтрак.

Стеклянное петербургское солнце ложилось на блеклый неровный ковер. Двадцать девять книг Мопассана стояли над столом на полочке. Солнце танцующими пальцами трогало сафьяновые корешки книг — прекрасную могилу человеческого сердца.

Нам подали кофе в синих чашечках, и мы стали переводить «Идиллию». Все помнят рассказ о том, как голодный юноша-плотник отсосал у толстой кормилицы молоко, тяготившее ее. Это случилось в поезде, шедшем из Ниццы в Марсель, в знойный полдень, в стране роз, на родине роз, там, где плантации цветов спускаются к берегу моря...

Я ушел от Бендерских с двадцатью пятью рублями аванса. Наша коммуна на Песках была пьяна в тот вечер, как стадо упившихся гусей. Мы черпали ложкой зернистую икру и заедали ее ливерной колбасой. Захмелев, я стал бранить Толстого.

— Он испугался, ваш граф, он струсил... Его религия — страх... Испугавшись холода, старости, граф сшил себе фуфайку из веры...

— И дальше? — качая птичьей головой, спрашивал меня Казанцев.

Мы заснули рядом с собственными постелями. Мне приснилась Катя, сорокалетняя прачка, жившая под нами. По утрам мы брали у нее кипяток. Я и лица ее толком не успел разглядеть, но во сне мы с Катей бог знает что делали. Мы измучили друг друга поцелуями. Я не удержался от того, чтобы зайти к ней на следующее утро за кипятком.

Меня встретила увядшая, перекрещенная шалью женщина, с распустившимися пепельно-седыми завитками и отсыревшими руками.

С этих пор я всякое утро завтракал у Бендерских. В нашей мансарде завелась новая печка, селедка, шоколад. Два раза Раиса возила меня на острова. Я не утерпел и рассказал ей о моем детстве. Рассказ вышел мрачным, к собственному моему удивлению. Из-под кротовой шапочки на меня смотрели блестящие испуганные глаза. Рыжий мех ресниц жалобно вздрагивал.

Я познакомился с мужем Раисы — желтолицым евреем с голой головой и плоским сильным телом, косо устремившимся к полету. Ходили слухи о его близости к Распутину. Барыши, получаемые им на военных поставках, придали ему вид одержимого. Глаза его блуждали, ткань действительности порвалась для него. Раиса смущалась, знакомя новых людей со своим мужем. По молодости лет я заметил это на неделю позже, чем следовало.

После нового года к Раисе приехали из Киева две ее сестры. Я принес как-то рукопись «Признания» и, не застав Раисы, вернулся вечером. В столовой обедали. Оттуда доносилось серебристое кобылье ржание и гул мужских голосов, неумеренно ликующих. В богатых домах, не имеющих традиций, обедают шумно. Шум был еврейский — с перекатами и певучими окончаниями. Раиса вышла ко мне в бальном платье с голой спиной. Ноги в колеблющихся лаковых туфельках ступали неловко.

— Я пьяна, голубчик. — И она протянула мне руки, униженные цепями платины и звездами изумрудов.

Тело ее качалось, как тело змеи, встающей под музыку к потолку.

Она мотала завитой головой, брэнча перстнями, и упала вдруг в кресло с древнерусской резьбой. На пудреной ее спине тлели рубцы.

За стеной еще раз взорвался женский смех. Из столовой вышли сестры с усиками, такие же полногрудые и рослые, как Раиса. Груды их были выставлены вперед, черные волосы развивались. Обе были замужем за своими собственными Бендерскими. Комната наполнилась бес-
связным женским весельем, весельем зрелых женщин. Мужья закутали сестер в котиковые манти, в оренбургские платки, заковали их в черные ботинки; под снежным забралом платков остались только нарумяненные пылающие щеки, мраморные носы и глаза с семитическим близоруким блеском. Пошумев, они уехали в театр, где давали «Юдифь» с Шляпным.

— Я хочу работать,— пролепетала Раиса, протягивая голые руки,— мы упустили целую неделю...

Она принесла из столовой бутылку и два бокала. Грудь ее свободно лежала в шелковом мешке платья; соски выпрямились, шелк накрыл их.

— Заветная,— сказала Раиса, разливая вино,— мускат восемьдесят летнего года. Муж убьет меня, когда узнает...

Я никогда не имел дела с мускатом 83-го года и не задумался выпить три бокала один за другим. Они тотчас же увели меня в переулки, где веяло оранжевое пламя и слышалась музыка.

— Я пьяна, голубчик... Что у нас сегодня?

— Сегодня у нас «L'aveu»...

— Итак, «Признание». Солнце — герой этого рассказа, le soleil de France..¹ Расплавленные капли солнца, упав на рыжую Селесту, превратились в веснушки. Солнце отполировало отвесными своими лучами, вином и яблочным сидром рожу кучера Полита. Два раза в неделю Селеста возила в город на продажу сливки, яйца и куриц. Она платила Политу за проезд десять су за себя и четыре су за корзину. И в каждую поездку Полит, подмигивая, справляется у рыжей Селесты: «Когда же мы позабудемся, ma belle»² — «Что это значит, мсье Полит?» Подпрыгивая на козлах, кучер объяснял: «Позабавиться — это значит позабавиться, черт меня побери... Парень с девкой — музыки не надо...»

— Я не люблю таких шуток, мсье Полит,— ответила Селеста и отодвинула от парня свои юбки, нависшие над могучими икрами в красных чулках.

Но этот дьявол Полит все хохотал, все кашлял,— когда-нибудь мы

¹ Солнце Франции (франц.).

² Красавица (франц.).

позабавимся, *ma belle*, — и веселые слезы катились по его лицу цвета кирпичной крови и вина.

Я выпил еще бокал заветного муската. Раиса чокнулась со мной.

Горничная с окаменевшими глазами прошла по комнате и исчезла.

Ce diable de Polyte... 'le soleil. За два года Селеста переплатила ему сорок восемь франков. Это пятьдесят франков без двух. В конце второго года, когда они были одни в дилижансе и Полит, хвативший сидра перед отъездом, спросил по своему обыкновению: «А не позабавиться ли нам сегодня, мамзель Селеста?» — она ответила, потупив глаза: «Я к вашим услугам, мсье Полит...»

Раиса с хохотом упала на стол. *Ce diable de Polyte...*

Дилижанс был запряжен белой клячей. Белая кляча с розовыми от старости губами пошла шагом. Веселое солнце Франции окружило рыдван, закрытый от мира порыжевшим козырьком. Парень с девкой, музы им не надо...

Раиса протянула мне бокал. Это был пятый.

— *Map vieux*², за Мопассана...

— А не позабавиться ли нам сегодня, *ma belle*...

Я потянулся к Раисе и поцеловал ее в губы. Они задрожали и вспухли.

— Вы забавный, — сквозь зубы пробормотала Раиса и отшатнулась.

Она прижалась к стене, распластав обнаженные руки. На руках и на плечах у нее зажглись пятна. Изю всех богов, распятых на кресте, это был самый обольстительный.

— Потрудитесь сест, мсье Полит...

Она указала мне на косое синее кресло, сделанное в славянском стиле. Спинку его составляли сплетения, вырезанные из дерева с расписными хвостами. Я побрел туда спотыкаясь.

Ночь подложила под голодную мою юность бутылку муската 83-го года и двадцать девять книг, двадцать девять петард, начиненных жалостью, гением, страстью... Я вскочил, опрокинул стул, задел полку. Двадцать девять томов обрушились на ковер, страницы их разлетелись, они стали боком... и белая кляча моей судьбы пошла шагом.

— Вы забавный, — прорычала Раиса.

Я ушел из гранитного дома на Мойке в двенадцатом часу, до того, как сестры и муж вернулись из театра. Я был трезв и мог ступать по одной доске, но много лучше было шататься, и я раскачивался из стороны в сторону, распевая на только что выдуманном мною языке. В туннелях улиц, обведенных цепью фонарей, валами ходили пары тумана. Чу-

¹ Этот пройдоха Полит... (франц.).

² Дружок (франц.).

довища ревели за кипящими стенами. Мостовые отсекали ноги идущим по ним.

Дома спал Казанцев. Он спал сидя, вытянув тощие ноги в валенках. Канареечный пух поднялся на его голове. Он заснул у печки, склонившись над «Дон-Кихотом» издания 1624 года. На титуле этой книги было посвящение герцогу де Броглио. Я лег неслышно, чтобы не разбудить Казанцева, придвинул к себе лампу и стал читать книгу Эдуарда де Мениаля — «О жизни и творчестве Гюи де Мопассана».

Губы Казанцева шевелились, голова его сваливалась.

И я узнал в эту ночь от Эдуарда де Мениаля, что Мопассан родился в 1850 году от нормандского дворянина и Лауры де Пуатевен, двоюродной сестры Флобера. Двадцати пяти лет он испытал первое нападение наследственного сифилиса. Плодородие и веселье, заключенные в нем, сопротивлялись болезни. Вначале он страдал головными болями и припадками ипохондрии. Потом призрак слепоты стал перед ним. Зрение его слабело. В нем развилась мания подозрительности, нелюдимость и сутяжничество. Он боролся яростно, метался на яхте по Средиземному морю, бежал в Тунис, в Марокко, в Центральную Африку — и писал непрестанно. Достигнув славы, он перерезал себе на сороковом году жизни горло, истек кровью, но остался жив. Его заперли в сумасшедший дом. Он ползал там на четвереньках... Последняя запись в его скорбном листе гласит:

«Monsieur de Maupassant va s'animaliser» («Господин Мопассан превратился в животное»). Он умер сорока двух лет. Мать пережила его.

Я дочитал книгу до конца и встал с постели. Туман подошел к окну и скрыл вселенную. Сердце мое сжалось. Предвестие истины коснулось меня.

«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»

Сергей Васильевич Малышев, ставший потом председателем Нижегородского ярмарочного комитета, образовал летом восемнадцатого года первую в нашей стране продовольственную экспедицию. С одобрения Ленина он нагрузил несколько поездов товарами крестьянского обихода и повез их в Поволжье, для того чтобы там обменять на хлеб.

В эту экспедицию я попал конторщиком. Местом действия мы выбрали Ново-Николаевский уезд Самарской губернии. По вычислениям ученых, этот уезд при правильном на нем хозяйствовании может прокормить всю Московскую область.

Неподалеку от Саратова, на прибрежной станции Увек, товары были перегружены на баржу. Трюм этой баржи превратился в самодель-

ный универсальный магазин. Между выгнутыми ребрами плавучего склада мы прибили портреты Ленина и Маркса, окружили их колосьями, на полках расположили ситцы, косы, гвозди, кожу; не обошлось без гармоник и балаалаек.

Там же, на Увекe, нам придали буксир — «Иван Тупицын», названный по имени волжского купца, прежнего хозяина. На пароходе разместился «штаб» — Малышев с помощниками и кассирами. Охрана и приказчики устроились в барже, под стойками.

Перегрузка заняла неделю. В июльское утро «Тупицын», вываливая жирные клубы дыма, потащил нас вверх по Волге, к Баронску. Немцы называли его Катариненштадт. Это теперь столица области немцев Поволжья, прекрасного края, населенного мужественными, немногословными людьми.

Степь, прилегающая к Баронску, покрыта тяжелым золотом пшеницы, какое есть только в Канаде. Она завалена коронами подсолнухов и масляными глыбами чернозема. Из Петербурга, вылизанного гранитным огнем, мы перенесли в русскую и этим еще более необыкновенную Калифорнию. Фунт хлеба стоил в нашей Калифорнии шестьдесят копеек, а не десять рублей, как на севере. Мы нажились на булке с ожесточением, которого теперь нельзя передать; в паутинную мякоть вонзались собачьи отточившиеся зубы. Недели две после приезда нас томил хмель блаженного несварения желудка. Кровь, потекшая по жилам, имела — так мне казалось — вкус и цвет малинового варенья.

Малышев рассчитал верно; торговля пошла ходко. Со всех краев степи к берегу тянулись медленные потоки телег. По спинам сытых лошадей двигалось солнце. Солнце сияло на вершинах пшеничных холмов. Телеги тысячами точек спускались к Волге. Рядом с лошадьми шагали гиганты в шерстяных фуфайках, потомки голландских фермеров, переселенных при Екатерине в приволжские урочища. Лица их остались такими же, как в Саардаме и Гаарлеме. Под патриархальным мхом бровей, в сети кожаных морщин блестели капли поблекшей бирюзы. Дым трубок таял в голубых молниях, протянувшихся над степью. Колонисты медленно всходили на баржу по трапу; деревянные их башмаки стучали, как колокола твердости и покоя. Товар выбирали старухи в накрахмаленных чепцах и коричневых тальмах. Покупки выносились к бричкам. Доморощенные живописцы рассыпали вдоль этих возков охапки полевых цветов и розовые бычьи морды. Наружная сторона бричек была закрашена обыкновенно синим глубоким тоном. В нем горели восковые яблоки и сливы, тронутые солнечным лучом.

Из дальних мест приезжали на верблюдах. Животные ложились на берегу, расчерчивая горизонт сваливающимися горбами. Торговля наша кончалась к вечеру. Лавка запиралась; охрана, состоявшая из инвалидов, и приказчики разоблачались и прыгали с бортов в Волгу, подожженную

закатом. В далекой степи красными валами ходили хлеба, в небе обрушивались стены заката. Купанье сотрудников продовольственной в Самарскую губернию экспедиции (так назывались мы в официальных бумагах) представляло собой необыкновенное зрелище. Калеки поднимали в воде илстые розовые фонтаны. Охранники были об одной ноге, другие недосчитывали руки или глаза. Они спрягались по двое, чтобы плавать. На двух человек приходилось две ноги, они колотили обрубками по воде, илстые струи втягивались водоворотом между их тел. Рыча и фыря, калеки вываливались на берег; разыгравшись, они потрясали культиками навстречу несущимся небесам, закидывали себя песком и боролись, пиная друг дружку обрубленные конечности. После купания мы отправлялись ужинать в трактир Карла Бидермаера. Этот ужин увенчивал наши дни. Две девки с кроваво-кирпичными руками — Августа и Анна — подавали нам котлеты, рыжие булжники, шевелившиеся в струях кипящего масла и заваленные скирдами жареного картофеля. Для вкуса в деревенскую гороподобную еду подбавляли лук и чеснок. Перед нами ставили банки с кислыми огурцами. Из круглых окошечек, вырезанных высоко, у потолка, пел с базарной площади дым заката. Огурцы курились в багровом дыму и пахли, как морской берег. Мы запивали мясо сидром. Обитатели Песков и Охты, обыватели пригородов, обледеневших в желтой моче, мы каждый вечер заново чувствовали себя завоевателями. Окошечки, высеченные в столетних черных стенах, походили на иллюминаторы. Сквозь них просвечивал дворик божественной чистоты, немецкий дворик с кустами роз и глициний, с фиолетовой пропастью раскрытой конюшни. Старухи в тальмах вязали у порогов чулки Гулливера. С пастбищ возвращались стада. Августа и Анна присаживались на скамеечки к коровам. В сумерках мерцали радужные коровьи глаза. Войны, казалось, не было и нет на свете. И все-таки фронт уральских казаков проходил в двадцати верстах от Баронска. Карл Бидермаер не догадывался о том, что гражданская война катится к его дому.

Ночью я возвращался в наш трюм с Селецким, таким же конторщиком, как и я. Он запевал по дороге. Из стрельчатых окон высовывались головы в колпаках. Лунный свет стекал по красным каналам черепицы. Глухой лай собак поднимался над русским Саардамом. Августы и Анны, окаменев, слушали пение Селецкого. Бас его доносил нас до степи, к готической изгороди хлебных амбаров. Лунные перекладыны дрожали на реке, тьма была легка; она отступала к прибрежному песку; в порванном неводе загигали светящиеся черви.

Голос Селецкого был неестественной силы. Саженный детина, он принадлежал к тому разряду провинциальных Шалапиных, которых, на счастье наше, рассеяно множество на Руси. У него было такое же лицо, как у Шалапина, — не то шотландского кучера, не то скатерининского

вельможи. Он был простоват, не в пример божественному своему прототипу, но голос его, безгранично, смертельно раздвигаясь, наполнял душу сладостью самоуничтожения и цыганского забвения. Кандальные песни он предпочитал итальянским ариям. От Селецкого в первый раз услышал я гречаниновскую «Смерть». Грозно, неумолимо, страстно шло по ночам над темной водой:

«...Она не забудет, придет, приголубит,
Обнимет, навеки полюбит,—
И брачный свой, тяжкий, наденет венец».

В мгновенной оболочке, называемой человеком, песня течет, как вода вечности. Она все смывает и все родит.

Фронт проходил в двадцати верстах. Уральские казаки, соединившись с чешским батальоном майора Воженилика, пытались выбить из Николаевска разрозненные отряды красных. Севернее — из Самары — наступали войска Комуча — Комитета членов Учредительного собрания. Распыленные и необученные наши части перегруппировались на левом берегу. Только что изменил Муравьев. Советским главнокомандующим был назначен Вицетис.

Оружие для фронта привозили из Саратова. Раз, а то и два раза в неделю к баронской пристани пришвартовывался бело-розовый самолетский пароход «Иван-да-Марья». Он привозил винтовки и снаряды. Палуба парохода бывала уставлена ящиками с набитыми по трафарету черепами, с надписью под черепами: «Смертельно».

Командовал пароходом Коростелев, испитой человек с льяным висячим волосом. Коростелев был бегун, неустроенная душа, бродяга. Он на парусниках ездил по Белому морю, пешком обошел Россию, побывал в тюрьме и в монастыре на послушании.

Возвращаясь от Бидермаера, мы всегда заходили к нему, если находили у пристани огни «Иван-да-Марьи». Однажды ночью, поравнявшись с хлебными амбарами, с волшебной этой линией синих и коричневых замков, мы увидели факел, пылавший высоко в небе. Мы возвращались с Селецким домой в том размягченном и страстном состоянии, какое может произвести необыкновенная эта сторона, молодость, ночь, тающие огненные кольца на реке.

Волга катилась неслышно. Огней не было на «Иван-да-Марье», корпус парохода темнел мертво, только факел рвался высоко над ним. Пламя металось над мачтой и чадило. Селецкий пел, поблуднев и закинув голову. Он подошел к воде и оборвал. Мы взошли на мостики, никем не охраняемые. На палубе валялись ящики и оружейные колеса. Я толкнул дверь капитанской каюты, она открылась. На залитом столе горела без стекла жестяная лампа. Железка, окружавшая фитиль, плавилась. Окна

были забиты горбатыми досками. От бидонов, валявшихся под столом, шел серный дух самогона. Коростелев в холщовой рубаше сидел на полу в зеленых струях блевотины. Монашеский волос, склеившись, стоял вокруг его лица. Коростелев не отрываясь смотрел с полу на своего комиссара латыша Ларсона. Тот, поставив перед собой желтый картон «Правды», читал его в свете плавающего керосинового костра.

— Вот ты какой,— сказал с полу Коростелев,— продолжай то, что ты говорил... Мучай нас, если хочешь...

— Зачем я буду говорить,— отозвался Ларсон, повернулся спиной и отгородился своим картоном,— лучше я тебя слушаю...

На бархатном диване, свесив ноги, сидел рыжий мужик.

— Лисей,— сказал ему Коростелев,— водки.

— Вся,— ответил Лисей,— и достать негде...

Ларсон отставил картон и захохотал вдруг, точно дробь стал выбивать:

— Российскому человеку выпить требуется,— латыш говорил с акцентом,— у российского человека душа мало-мало разошлась, а тут достать негде... Зачем тогда Волга называется?..

Худая детская шея Коростелева вытянулась, ноги его в холщовых штанах разбросались по полу. Жалобное недоумение отразилось в его глазах, потом они засияли.

— Мучай нас,— сказал он чуть слышно и вытянул шею,— мучай нас, Карл...

Лисей сложил пухлые руки и посмотрел на латыша сбоку:

— Ишь, Волгу ремизит... Нет, товарищ, ты нашу Волгу не ремизь, не порочь... Знаешь, как у нас песня играется: «Волга-матушка, река-ца-рица»...

Мы с Селецким все стояли у двери. Я подумывал об отступлении.

— Вот никоим образом не пойму,— обратился к нам Ларсон, он, видимо, продолжал давнишний спор,— может, товарищи разъяснят мне, как это так выходит, что железобетон оказывается хуже березок да осинок, а дирижабли хуже калуцкого дерьма?..

Лисей повертел головой в ваточном воротнике. Ноги его не доставали до полу, пухлыми пальцами, прижатыми к животу, он плел невидимую сеть.

— Что ты, друг, об Калуге знаешь,— успокоительно сказал Лисей,— в Калуге, я тебе скажу, знаменитый народ живет, великолепный, если желаешь знать, народ...

— Водки,— произнес с полу Коростелев.

Ларсон снова запрокинул поросычью свою голову и резко захохотал.

— Мы-ста да вы-ста,— пробормотал латыш, придвигая к себе картон,— авось да небось...

Бурный пот был на его лбу, в колтуне бесцветных волос плавали масляные струи огня.

— Авось да небось,— он снова фыркнул,— мы-ста да вы-ста...

Коростелев потрогал пальцами вокруг себя. Он двинулся и пополз, забирая вперед руками, таща за собой скелет в холщовой рубаше.

— Ты не смеешь мучить Россию, Карл,— прошептал он, подползши к латышу, ударил его сведенной ручкой по лицу и с визгом стал об него стучаться.

Тот надулся и поверх сползших очков осмотрел всех нас. Потом он обмотал вокруг пальцев шелковую реку волос Коростелева и вдавил его лицом в пол. Он поднял его и снова опустил.

— Получил,— отрывисто сказал Ларсон и отшвырнул костлявое тело,— и еще получишь...

Коростелев, упершись в ладони, приподнялся над полом по-собачьи. Кровь текла у него из ноздрей, глаза косили. Он поводил ими, потом вскинулся и с воем забрался под стол.

— Россия,— проговорил он под столом и забился,— Россия...

Лопаты босых его ступней выскочили и втянулись. Одно только слово — со свистом и стоном — можно было расслышать в его визге.

— Россия,— выл он, протягивая руки, и колотился головой.

Рыжий Лисей сидел на бархатном диване.

— С полдня завелись,— обернулся он ко мне и Селецкому,— все об Рассее бьются, все Рассею жалеют...

— Водки,— твердо сказал из-под стола Коростелев. Он вылез и стал на ноги. Волосы его, взмокшие в кровавой луже, падали на щеку.

— Где водка, Лисей?

— Водка, друг, в Вознесенском, сорок верст, хошь по воде сорок верст, хошь по земле сорок верст... Там ноне храм, самогон обязан быть... Немцы, что хошь делай, не держат...

Коростелев повернулся и вышел на прямых журавлиных ногах.

— Мы калуцкие,— неожиданно закричал Ларсон.

— Не уважает Калугу,— выдохнул Лисей,— хоть ты што... А я в ей был, в Калуге... В ей стройный народ живет, знаменитый...

За стеной прокричали команду, послышался звук якоря, якорь пошел вверх. Брови Лисея поднялись.

— Никак в Вознесенское едем?...

Ларсон захохотал, откинув голову. Я выбежал из каюты. Босой Коростелев стоял на капитанском мостике. Медный отблеск луны лежал на раскроенном его лице. Сходни упали на берег. Матросы, кружась, наматывали канаты.

— Дмитрий Алексеевич,— крикнул вверх Селецкий,— нас-то отпусти, мы-то при чем?..

Машины, взорвавшись, перешли на беспорядочный стук. Колесо рыло воду. У пристани мягко разодралась сгнившая доска. «Иван-да-Марья» ворочал носом.

— Поехали,— сказал Лисей, вышедший на палубу,— поехали в Вознесенское за самогоном...

Раскручивая колесо, «Иван-да-Марья» набирал быстроту. В машине нарастали масляная толкотня, шелест, свист, ветер. Мы летели во мраке, не сворачивая по сторонам, сбивая бакены, сигнальные вешки и красные огни. Вода, пенясь под колесами, летела назад, как позлащенное крыло птицы. Луна врылась в черные водовороты. «Фарватер Волги извилист,— вспомнил я фразу из учебника,— он изобилует мелями...» Коростелев переминался на капитанском мостике. Голубая светящаяся кожа обтягивала его скулы.

— Полный,— сказал он в рупор.

— Есть полный,— ответил глухой невидимый голос.

— Еще дай...

Внизу молчали.

— Сорву машину,— ответил голос после молчания.

Факел сорвался с мачты и проволочился по крутящейся волне. Пароход качнулся, взрыв, продрожав, прошел по корпусу. Мы летели во мраке, никуда не сворачивая. На берегу взвилась ракета, по нас ударили трехдюймовкой. Снаряд просвистел в мачтах. Поваренок, тащивший по палубе самовар, поднял голову. Самовар выскользнул из его рук, покатылся по лестнице, треснул, и блещущая струя понеслась по грязным ступеням. Поваренок оскалился, привалился к лестнице и заснул. Из рта его забил смертный запах самогона. Внизу, среди замазлившихся цилиндров, кочегары, голые до пояса, ревели, размахивали руками, валились на пол. В жемчужном свечении валов отражались искаженные их лица. Команда парохода «Иван-да-Марья» была пьяна. Один рулевой твердо двигал свой круг. Он обернулся, увидев меня.

— Жид,— сказал мне рулевой,— что с детьми будет?..

— С какими детьми?

— Дети не учатся,— сказал рулевой, ворочая кругом,— дети воры будут...

Он приблизил ко мне свинцовые синие скулы и заскрипел зубами. Челюсти его скрежетали, как жернова. Зубы, казалось, размалываются в песок.

— Загрызу...

Я попятился от него. По палубе проходил Лисей.

— Что будет, Лисей?

— Должен довести,— сказал рыжий мужик и сел на лавочку отдохнуть.

Мы спустили его в Вознесенском. «Храма» там не оказалось, ни огней, ни карусели. Пологий берег был темен, прикрыт низким небом. Лисей потонул в темноте. Его не было больше часу, он вынырнул у самой воды, нагруженный бидонами. Его сопровождала рябая баба, статная, как лошадь. Детская кофта, не по ней, обтягивала грудь бабы. Какой-то карлик в остроконечной ватной шапке и маленьких сапожках, разинув рот, стоял тут же и смотрел, как мы грузились.

— Сливочный,— сказал Лисей, ставя бидоны на стол,— самый сливочный самогон...

И гонка призрачного нашего корабля возобновилась. Мы приехали в Баронск к рассвету. Река расстилалась необозримо. Вода стекала с берега, оставляя атласную синюю тень. Розовый луч ударил в туман, повисший на ключьях кустов. Глухие крашенные стены амбаров, тонкие их шпили медленно повернулись и стали подплывать к нам. Мы подходили к Баронску под раскаты песни. Селецкий прочистил горло бутылкой самого сливочного и распелся. Тут все было — Блоха Мусоргского, хохот Мефистофеля и ария помешавшегося мельника: «Не мельник я — я ворон»...

Босой Коростелев, перегнувшись, лежал на перильцах капитанского мостика. Голова его с прикрытыми веками поматывалась, рассеченное лицо было закинута к небу, по нем блуждала неясная детская улыбка. Коростелев очнулся, когда мы замедлили ход.

— Алеша,— сказал он в рупор,— самый полный.

И мы врзались в пристань с полного хода. Доска, помятая нами в прошлый раз, разлетелась. Машину застопорили вовремя.

— Вот и довез,— сказал Лисей, оказавшийся рядом со мной,— а ты, друг, опасывался...

На берегу выстроились уже чапаевские тачанки. Радужные полосы темнели и стывали на берегу, только что оставленном водой. У самой пристани валялись зарядные ящики, брошенные в прежние приезды. На одном из ящиков в папаше и неподпоясанной рубаше сидел Макеев, командир сотни у Чапаева. Коростелев пошел к нему, расставив руки.

— Опять я, Костя, начудил,— сказал он с детской своей улыбкой,— все горючее извел...

Макеев боком сидел на ящике, ключья папаше свисали над безбровыми желтыми дугами глаз. Маузер с некрашенной ручкой лежал у него на коленях. Он выстрелил, не оборачиваясь, и промахнулся.

— Фу ты, ну ты,— пролепетал Коростелев, весь светясь,— вот ты и рассердился...— Он шире расставил худые руки.— Фу ты, ну ты...

Макеев вскочил, завертелся и выпустил из маузера все патроны. Выстрелы прозвучали торопливо. Коростелев еще что-то хотел сказать, но не успел, вздохнул и упал на колени. Он опустился к ободьям, к колесам тачанки, лицо его разлетелось, молочные пластинки черепа прилипи-

ли к ободьям. Макеев, пригнувшись, выдергивал из обоев последний застрявший патрон.

— Отшутились,— сказал он, обводя взглядом красноармейцев и всех нас, скопившихся у сходен.

Лисей, приседая, протрусил с попоной в руках и накрыл ею Коростелева, длинного, как дерево. На пароходе шла одиночная стрельба. Чапаевцы, бегая по палубе, арестовывали команду. Баба, приставив ладонь к рябому лицу, смотрела с борта на берег сощуренными, незрячими глазами.

— Я те погляжу,— сказала ей Макеев,— я научу горячее жечь...

Матросов выводили по одному. За амбарами их встречали немцы, высыпавшие из своих домов. Карл Бидермаер стоял среди своих земляков. Война пришла к его порогу.

В этот день нам выпало много работы. Большое село Фриденталь приехало за товаром. Цепь верблюдов легла у воды. Вдали, в бесцветной жести горизонта, завертелись ветряки.

До обеда мы сыпали в баржу фридентальское зерно, к вечеру меня вызвал Малышев. Он умывался на палубе «Тупицына». Инвалид с зашпиленным рукавом сливал ему из кувшина... Малышев фыркал, кряхтел, подставляя щеки. Обтираясь полотенцем, он сказал своему помощнику, продолжая, видимо, ранее затеянный разговор:

— И правильно... Будь ты трижды хороший человек — и в скитах ты был, и по Белому морю ходил, и человек ты отчаянный,— а вот горячее, сделай милость, не жги...

Мы пошли с Малышевым в каюту. Я обложился там ведомостями и стал писать под диктовку телеграмму Ильичу.

— Москва. Кремль. Ленину.

В телеграмме мы сообщали об отправке пролетариям Петербурга и Москвы первых маршрутов с пшеницей, двух поездов по двадцать тысяч пудов зерна в каждом.

1920—1928.

КОЛЫВУШКА

(Из книги «Великая Старица»)

Во двор Ивана Колывушки вступило четверо — уполномоченный РИКа Ивашко, Евдоким Назаренко, голова сельрады, Житняк, председатель колхоза, только образовавшегося, и Адриан Моринец. Адриан двигался так, как если бы башня тронулась с места и пошла. Прижимая

к бедру переламывающийся холстинный портфель, Ивашко пробежал мимо сараев и вскочил в хату. На потемневших прялках, у кона, сучили нитку жена Ивана и две его дочери. Повязанные косынками, с высокими тальмами и чистыми маленькими босыми ногами, они походили на монашек. Между полотенцами и дешевыми зеркалами висели фотографии прапорщиков, учительниц и горожан на даче. Иван вошел в хату вслед за гостями и снял шапку.

— Сколько податку платит? — вертясь, спросил Ивашко.

Голова Евдоким, сунув руки в карманы, наблюдал за тем, как летит колесо прялки.

Ивашко фыркнул, узнав, что Колывушка платит двести шестнадцать рублей.

— Билыш не сдужил?..

— Видно, что не сдужил...

Житняк растянул сухие губы, голова Евдоким все смотрел на прялку. Колывушка, стоявший у порога, мигнул жене; та вынула из-за образов квитанцию и подала уполномоченному РИКа.

— Семфонд?.. — Ивашко спрашивал отрывисто, от нетерпения он ерзал ногой, вдавливая ее в половицы.

Евдоким поднял глаза и обвел ими хату.

— В этом господстве, — сказал Евдоким, — все сдано, товарищ представник... В этом господстве не может того быть, чтобы не сдано...

Беленые стены низким, теплым куполом сходились над гостями. Цветы в ламповых стеклах, плоские шкафы, натертые лавки — все отражало мучительную чистоту. Ивашко снялся со своего места и побежал с вихляющим портфелем к выходу.

— Товарищ представник, — Колывушка вступил вслед за ним, — распоряжение будет мне или как?..

— Довидку получишь, — болтая руками, прокричал Ивашко и побежал дальше.

За ним двигался Адриан Моринец, нечеловечески громадный. Веселый виконавец Тымыш мелькнул у ворот, вслед за Ивашкой. Тымыш мерил длинными ногами грязь деревенской улицы.

— У чому справа, Тымыш?..

Иван поманил его и схватил за рукав. Виконавец, веселая жердь, пергнулся и открыл пасть, набитую малиновым языком и обсаженную жемчугами.

— Дом твой под реманент забирают...

— А меня?..

— Тебя на высылку...

И журавлиными своими ногами Тымыш бросился догонять начальство.

Во дворе у Ивана стояла запряженная лошадь. Красные вожжи были брошены на мешки с пшеницей. У погнувшейся липы посреди двора стоял пень, в нем торчал топор. Иван потрогал рукой шапку, сдвинул ее и сел. Кобыла подтащила к нему розвальни, высунула язык и сложила его трубкой. Лошадь была жереба, живот ее оттягивался круто. Играя, она ухватила хозяина за ватное плечо и потрепала его. Иван смотрел себе под ноги. Истоптанный снег рябил вокруг пня. Сутулясь, Колывушка вытянул топор, подержал его в воздухе, на весу, и ударил лошадь по лбу. Одно ухо ее отскочило, другое прыгнуло и прижалось; кобыла застонала и понесла. Розвальни перевернулись, пшеница витыми полосами разостлалась по снегу. Лошадь прыгала передними ногами и запрокидывала морду. У сарая она запуталась в зубьях бороны. Из-под кровавой, люющей завесы вышли ее глаза. Жалуясь, она запела. Жеребенок повернулся в ней, жила вспухла на ее брюхе.

— Помиримось,— протягивая ей руку, сказал Иван,— помиримось, дочка...

Ладонь в его руке была раскрыта. Ухо лошади повисло, глаза ее косили, кровавые кольца сияли вокруг них, шея образовала с мордой прямую линию. Верхняя губа ее запрокинулась в отчаянии. Она натянула шлею и двинулась, таща прыгавшую борону. Иван отвел за спину руку с топором. Удар пришелся между глаз, в рухнувшем животном еще раз повернулся жеребенок. Описав круг по двору, Иван подошел к сараю и выкатил на волю веялку. Он размахивался широко и медленно, разбивая машину, и поворачивал топор в тонком плетении колес и барабана. Жена в высокой тальме появилась на крыльце.

— Маты,— услышал Иван далекий голос,— маты, он все погубляет...

Дверь открылась; из дому, опираясь на палку, вышла старуха в холстинных штанах. Желтые волосы облегали дыры ее щек, рубаха висела как саван на плоском ее теле. Старуха ступила в снег мохнатыми чулками.

— Кат,— отнимая топор, сказала она сыну,— ты отца вспомнил?.. Ты братьев, каторжников, вспомнил?..

Во двор набрались соседи. Мужики стояли полукругом и смотрели в сторону. Чужая баба рванулась и завизжала.

— Примись, стерво,— сказал ей муж.

Иван стоял, упершись в стену. Дыхание его, гремя, разносилось по двору. Казалось, он производит трудную работу, вбирая в себя воздух и выталкивая его.

Дядька Колывушки, Терентий, бегая вокруг ворот, пытался запереть их.

— Я человек,— сказал вдруг Иван окружившим его,— я есть человек, селянин... Неужто вы человека не бачили?

Терентий, толкаясь и приседая, прогнал посторонних. Ворота завизжали и съехались. Раскрылись они к вечеру. Из них выплыли сани, туго с перекатом, уложенные добром. Женщины сидели на тюках, как покоченевшие птицы. На веревке, привязанная за рога, шла корова. Воз проехал краем села и утонул в снежной, плоской пустыне. Ветер мел снизу и стонал в этой пустыне, рассыпая голубые валы. Жестяное небо стояло за ними. Алмазная сеть, блестя, оплетала небо.

Колывушка, глядя прямо перед собой, прошел по улице к сельраде. Там шло заседание нового колхоза «Видрождения». За столом распластался горбатый Житняк.

— Перемена нашей жизни, в чем она есть, ця перемена?

Руки горбуна прижимались к туловищу и снова уносились.

— Селяне, мы переходим к молочно-огородному направлению, тут громаднейшее значение. Батьки и деды наши топтали чеботами клад, в настоящее время мы его вырываем. Разве это не позор, разве ж то не ганьба, что, существуя в яких-нибудь шестидесяти верстах от центрального нашего миста, мы не поладили господарства на научных данных? Очи наши были затворены, селяне, утекать мы утекали сами от себя... Что такое обозначает шестьдесят верст, кому это известно?.. В нашей державе это обозначает час времени, но и цей малый час есть человеческое наше имущество, есть драгоценность...

Дверь сельрады раскрылась. Колывушка в литом полушубке и высокой шапке прошел к стене. Пальцы Ивашки запрыгали и врылись в бумаги.

— Посбавленных права голоса,— сказал он, глядя вниз на бумаги, — прохаю залишить наши сборы...

За окном, за грязными стеклами, разливался закат, изумрудные его потоки. В сумерках деревенской избы в сыром дыму махорки слабо блестя искры. Иван снял шапку, корона черных его волос развалилась.

Он подошел к столу, за которым сидел президиум,— батрачка Ивга Мовчан, голова Евдоким и безмолвный Адриан Моринец.

— Мир,— сказал Колывушка, протянул руку и положил на стол связку ключей,— я увольняюсь от вас, мир...

Железо, прозвенев, легло на почернелые доски. Из тьмы вышло искаженное лицо Адриана.

— Куда ты пойдешь, Иване?..

— Люди не принимают, может, земля примет...

Иван вышел на цыпочках, ныряя головой.

— Номер,— взвизгнул Ивашко, как только дверь закрылась за ним, — самая провокация... Он за обрезом пошел, он никуда, кроме как за обрезом, не пойдет...

Ивашко застучал кулаком по столу. К устам его рвались слова о па-

нике и о том, чтобы соблюдать спокойствие. Лицо Адриана снова втянулось в темный угол.

— Не,— сказал он из тьмы,— мабуть, не за обрезом, представник.

— Маю пропозицию...— вскричал Ивашко.

Предложение состояло в том, чтобы нарядить стражу у Колывушкиной хаты. В стражники выбрали Тымыша, виконавца. Гримасничая, он вынес на крыльцо венский стул, развалился на нем, поставил у ног своих дробовик и дубинку. С высоты крыльца, с высоты деревенского своего трона Тымыш перекликался с девками, свистал, выл и постукивал дробовиком. Ночь была лиловая, тяжела, как горный цветной камень. Жилы застывших ручьев пролегали в ней; звезда спустилась в колодцы черных облаков.

Наутро Тымыш донес, что происшествий не было. Иван ночевал у деда Абрама, у старика, заросшего диким мясом. С вечера Абрам протатился к колодцу.

— Ты зачем, диду Абрам?

— Самовар буду ставить,— сказал дед.

Они спали поздно. Над хатами закурился дым; их дверь все была затворена.

— Смылся,— сказал Ивашко на собрании колхоза,— заплачем, чи шо?.. Как вы мыслите, селяне?..

Житняк, раскинув по столу трепещущие острые локти, записывал в книгу приметы обобществленных лошадей. Горб его отбрасывал движущуюся тень.

— Чем нам теперь глотку запхнешь,— разглагольствовал Житняк между делом,— нам теперь все на свете нужно... Дождевиков искусственных надо, распашников надо пружинных, трактора, насосы... Это есть ненасытность, селяне... Вся наша держава есть ненасытная...

Лошади, которых записывал Житняк, все были гнедые и пегие, по имени их звали «мальчик» и «жданка». Житняк заставлял владельцев расписываться против каждой фамилии.

Его прервал шум, глухой и дальний топот... Прибой накатывался и плескал в Великую Старицу. По разломившейся улице повалила толпа. Безногие катились впереди нее. Невидимая хоругвь реяла над толпой. Добежав до сельрады, люди сменили ноги и построились. Круг обнажился среди них, круг вздыбленного снега, пустое место, как оставляют для попа во время крестного хода. В кругу стоял Колывушка в рубахе навывпуск под жилеткой, с белой головой. Ночь посеребрила цыганскую его корону, черного волоса не осталось в ней. Хлопья снега, слабые птицы, уносимые ветром, пронесли под потеплевшим небом. Старик со сломанными ногами, подавшись вперед, с жадностью смотрел на белые волосы Колывушки.

— Скажи, Иване,— поднимая руки, произнес старик,— скажи народу, что ты маешь на душе...

— Куда вы гоните меня, мир,— прошептал Колывушка, озираясь, — куда я пойду... Я рожденный среди вас, мир...

Ворчанье проползло в рядах. Разбрасывая людей, Моринец выбрался вперед.

— Нехай робит,— вопль не мог вырваться из могучего его тела, низкий голос дрожал,— нехай робит... Чью долю он заест?..

— Мою,— сказал Житняк и засмеялся. Шаркая ногами, он подошел к Колывушке и подмигнул ему.

— Цию ночку я с бабой переспал,— сказал горбун,— как вставать — баба оладий напекла, мы, как кабаны, нашамались с нею, аж газ пущали...

Горбун умолк, смех его оборвался, кровь ушла из его лица.

— Ты к стенке нас ставить пришел,— сказал он тише,— ты тиранить нас пришел — белой своей головой, мучить нас, только мы не станем мучиться, Ваня... Нам это — скука в настоящее время — мучиться.

Горбун придвинулся на тонких вывороченных ногах. Что-то свистело в нем, как в птице.

— Тебя убить надо,— прошептал он, догадавшись,— я за пистолью пойду, уничтожу тебя...

Лицо его просветлело, радуясь, он тронул руку Колывушки и кинулся в дом за дробовиком Тымыша. Колывушка, покачавшись на месте, двинулся. Серебряный свиток его головы уходил в клубящемся полете хат. Ноги его путались, потом шаг стал тверже. Он повернул по дороге на Ксеньевку. С тех пор никто не видел его в Великой Старице.

СОДЕРЖАНИЕ

Начало	4
Письмо	7
Измена	9
История моей голубятни	12
Пробуждение	20
Ди Грассо	25
Гюи де Мопассан	28
«Иван-да-Марья»	33
Колывушка	41

БАБЕЛЬ Исаак Эммануилович

РАССКАЗЫ

Редактор В. Н. Вигилянский

Технический редактор Т. Я. Ковыненкова

Сдано в набор 16.06.89. Подписано к печати 03.08.89.
Формат $70 \times 108^{1/2}$. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.
Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,11.
Тираж 150 000 экз. Заказ № 806. Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865,
ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

● **ХОТИТЕ УВЕЛИЧИТЬ БУДУЩУЮ
ПЕНСИЮ!**

Тогда заключайте договор добровольного страхования дополнительной пенсии. По Вашему желанию ее размер может быть установлен в сумме 10, 20, 30, 40 или 50 рублей в месяц. После окончания срока страхования Вы будете пожизненно получать дополнительную сумму независимо от государственной пенсии по возрасту.

Рабочие, служащие и колхозники в течение всего срока страхования уплачивают взносы путем безналичного расчета через бухгалтерию по месту работы. Государство половину страхового фонда формирует за счет средств бюджета. Поэтому страховые взносы населения сравнительно невелики.

Подробную информацию можно получить в инспекции госстраха или у страхового агента.

Спешите заключить договор! Ваше будущее—в ваших руках!

**Правление государственного
страхования СССР**